

Джон Голсуорси

СОВРЕМЕННАЯ КОМЕДИЯ

КНИГА 1

БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА

*Все вперед, все
вперед.*

*Отступления нет,
Победа или смерть.*

Гэй

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ПРОГУЛКА

В этот памятный день середины октября 1922 года сэр Лоренс Монт, девятый баронет, вышел из «Клуба шутников», как прозвал его Джордж Форсайт в конце восьмидесятых годов, спустился по ступеням, стертым ногами приверженцев существующего порядка вещей, повел своим острым носом по ветру и быстро засеменя тонкими ногами. Занимаясь политикой скорее по долгу высокого рождения, чем по призванию, он смотрел на переворот, вернувший к власти его партию, с беспристрастностью, не лишенной юмора. Проходя мимо клуба «Смена», он подумал:

«Да, им теперь придется попотеть! Пусть посидят без сладкого для разнообразия!»

Командоры и короли удалились из «Клуба шутников» еще до вступления туда сэра Лоренса; он-то не принадлежит к этим крохоборам, которым теперь дали отставку, нет, сэр! Он не из тех людей, что отмахнулись от земельной проблемы, как только кончилась война, — брр! Однако целый час он слушал отклики на последние события, и его живой и гибкий ум, насквозь пропитанный культурой прошлого и полный скептицизма по отношению к настоящему и ко всем политическим! платформам и декларациям, с насмешкой отмечал путаницу патриотических мотивов и забот о личной выгоде, которая осталась после этого знаменательного собрания. Как большинство землевладельцев, он не доверял никаким доктринам. Его единственным политическим убеждением был налог на пшеницу, и, насколько он мог судить, единомышленников у него не осталось; впрочем, он и не думал выставлять свою кандидатуру на выборах, — другими словами, на его принцип не могли покуситься избиратели, которым приходилось платить за хлеб. «Принципы! — думал он. — Ведь *au fond* ¹— это

¹ В сущности (*франц.*).

карман!» И, черт побери, когда же люди перестанут притворяться, что это не так! Карман, разумеется, в широком смысле слова, — так сказать, эгоистические интересы каждого как члена определенного общества. А как, черт возьми, это определенное общество — английская нация — сможет существовать, если все его поля останутся необработанными, а вражеские аэропланы будут грозить разрушением английским кораблям и докам? В клубе он весь этот час ждал, чтобы хоть раз упомянули о земле. И никто — ни слова! Это, видите ли, не политика! Вот проклятье! Им бы только протирать брюки, чтобы удержаться на своем месте или добиться нового. Какая связь между их брюками и заботой о будущем страны? Никакой, ей-богу! При мысли о будущем страны ему неожиданно пришло в голову, что жена его сына до сих пор, по-видимому, никак этим будущим не озабочена. Два года! Пора им подумать о детях. Опасная привычка — не заводить детей, когда от этого зависят и титул и поместье. Улыбка тронула его губы и лохматые брови, похожие на путаные черные закорючки. Очень мила, удивительно привлекательна! И знает это сама! С кем только она не знакома! Львы и тигры, обезьяны и кошки — ее дом стал просто зверинцем для всяких больших и маленьких знаменитостей. Есть в этом что-то неестественное. И, глядя на одного из

бронзовых британских львов на Трафальгар-сквер, сэра Лоренс подумал: «Скоро она и этого затащит к себе в дом! У нее страсть к коллекционированию. Майклу надо быть начеку — в доме коллекционеров всегда есть чулан для старого хлама, и мужьям легко попасть туда. Да, кстати: я обещал ей китайского посланника. Придется ей, пожалуй, подождать до окончания выборов».

В конце Уайтхолла, под сереющим на востоке небом, на миг появились башни Вестминстера. «Что-то нереальное даже в них, — подумал он. — А Майкл со своими причудами! Впрочем, это модно — социалистические убеждения и богатая жена. Самопожертвование и безопасность! Мир и процветание. Шарлатанское снадобье от всех болезней — десять пилюль на пенни!»

Миновав газетную сутолоку Чэринг-Кросса, обезумевшего от политического кризиса, сэра Лоренс повернул налево, к издательству Дэнби и Уинтера, где его сын состоял младшим компаньоном. Новая тема для книги только что зародилась в мозгу, уже подарившему миру «Жизнь Монтроза», «Далекий Китай» — книгу о путешествиях на Восток, и фантастический диалог между тенями Гладстона и Дизраэли, озаглавленный «Дуэт». С каждым шагом, уводившим сэра Лоренса от «Шутников» на восток, его прямая тонкая фигура в пальто с каракулевым

воротником и худое лицо с седыми усами и черепаховым моноклем под темной подвижной бровью казались все более редким явлением. Но он стал почти феноменом в этом унылом переулке, где тележки застревали, словно зимние мухи, и люди проходили с книгами под мышкой, будто шли учиться.

Он почти дошел до дверей издательства, когда навстречу ему показались двое молодых людей. Один из них, конечно, его сын; он после женитьбы стал одеваться много лучше и, слава богу, курит сигару вместо этих вечных папиросок. А вот другой — ах да, поэт, любимец Майкла, был у него шафером — идет, закинув голову, велюровая шляпа, и лицо какое тонкое!

— А, Майкл!

— Алло, Барт. Ты знаком с моим родителем, Уилфрид? Это — Уилфрид Дезерт, автор «Медяков». Настоящий поэт, Барт, верно говорю! Непременно прочтите! Мы идем домой. Пойдемте с нами.

Сэр Лоренс повернул.

— Что нового у «Шутников»?

«Le roi est mort!»² Лейбористы уже могут

² «Король умер!» (*франц.*) — формула, принятая для объявления о смерти французских королей и о воцарении наследника: «Король умер, да здравствует король!»

начинать свое вранье, Майкл, — выборы назначены на следующий месяц.

— Барт вырос в те дни, Уилфрид, когда люди еще не имели понятия о Демосе.

— Скажите, мистер Дезерт, а вы-то находите что-нибудь реальное в нынешней политике?

— А разве для вас на свете есть что-нибудь реальное, сэр?

— Да, подходящий налог.

Майкл засмеялся.

— Кроме дворянского звания, нет ничего лучше простодушной веры.

— Предположим, твои друзья придут к власти, Майкл; отчасти это неплохо, они бы выросли немного, а? Но что они смогли бы сделать? Могут ли они воспитать вкус народа? Уничтожить кино? Научить англичан хорошо готовить? Предотвратить угрозу войны со стороны других стран? Заставить нас самих растить свой хлеб? Остановить рост городов? Разве они перевешают изобретателей ядовитых газов? Разве они могут запретить самолетам летать во время войны? Разве они могут ослабить собственнические инстинкты где бы то ни было? Разве они вообще могут что-нибудь сделать, кроме как переменить немного распределение собственности? Политика всякой

партии — это только глазурь на торте. Нами управляют изобретатели и человеческая природа; и мы сейчас в тупике, мистер Дезерт.

— Вполне согласен, сэр.

Майкл пыхнул сигарой.

— Оба вы — старые ворчуны!

И, сняв шляпы, они прошли мимо Гробницы

3.

— Удивительно симптоматично — эта вот вещь, — заметил сэр Лоренс, — памятник страху... страху перед всем показным. А боязнь показного...

— Говорите, Барт, говорите, — сказал Майкл.

— Все прекрасное, все великое, все пышное — все исчезло! Ни широкого кругозора, ни великих планов, ни больших убеждений, ни большой религии, ни большого искусства — эстетство в кружках и закоулках, мелкие людишки, мелкие мыслишки.

— А сердце жаждет Байронов, Уилберфорсов, памятника Нельсону. Бедный мой старый Барт! Что ты скажешь, Уилфрид?

— Да, мистер Дезерт, что вы скажете?

Хмурое лицо Дезерта дрогнуло.

— Наш век — век парадоксов, — проговорил он. — Мы все рвемся на свободу, а единственные

³ Памятник жертвам войны 1914–1918 гг.

крепнущие силы — это социализм и римско-католическая церковь. Мы воображаем, что невероятно многого достигли в искусстве, а единственное достижение в искусстве — это кино. Мы помешаны на мире — и ради него только и делаем, что совершенствуем ядовитые газы.

Сэр Лоренс поглядел сбоку на молодого человека, говорившего с такой горечью.

— А как дела в издательстве, Майкл?

— Что ж, «Медяки» раскупаются, как горячие пирожки, и ваш «Дуэт» тоже пошел. Как вы находите такой новый текст для рекламы: «„Дуэт“, сочинение сэра Лоренса Монта, баронета. Изысканнейшая беседа двух покойников». Должно подействовать на психологию читателя! Уилфрид предлагал: «Старик и Диззи ⁴ — по радио из ада». Что вам больше нравится?

Но тут они оказались рядом с полисменом, поднявшим руку перед мордой ломовой лошади, так что все движение разом остановилось. Моторы автомобилей жужжали впустую, взгляды шоферов вперились в запретное для них пространство, девушка на велосипеде рассеянно оглядывалась, держась за край фургона, на котором боком сидел юноша, свесив ноги в ее сторону. Сэр Лоренс снова

⁴ Гладстон и Дизраэли.

поглядел на Дезерта. Тонкое, бледное и смуглое лицо — красивое лицо, но какая-то в нем судорожность, как будто нарушен внутренний ритм; в одежде, в манерах — никакой утрировки, но все же чувствуется некоторая вольность; в нем меньше живости, чем в этом веселом повесе, собственном сыне сэра Лоренса, но такая же неустойчивость и, пожалуй, больше скептицизма — впрочем, он, наверно, способен на глубокие переживания! Полисмен опустил руку.

— Вы были на войне, мистер Дезерт?

— О да!

— В авиации?

— И в пехоте — всего понемногу.

— Трудновато для поэта!

— О нет! Поэзией только и можно заниматься, когда тебя в любую минуту может разорвать в клочки или если живешь в Пэтни⁵.

Бровь сэра Лоренса приподнялась.

— Разве?

— Теннисон, Браунинг, Вордсворт, Суинберн — вот кому было раздолье писать: *ils vivaient, mais si peu* ⁶.

⁵ Правобережный глухой район Лондона.

⁶ Они жили, но как мало они участвовали в жизни (*франц.*).

— А разве нет третьего благоприятного условия?

— Какого же, сэр?

— Как бы это выразиться... ну, известное умственное возбуждение, связанное с женщиной?

Лицо Дезерта передернулось и словно потемнело.

Майкл открыл французским ключом парадную дверь своего дома.

II. ДОМА

Дом на Саут-сквер, в Вестминстере, где поселились молодые Монты два года назад, после медового месяца, проведенного в Испании, можно было назвать «эмансипированным». Его строил архитектор, который мечтал создать новый дом — абсолютно старинный, и старый дом — абсолютно современный. Поэтому дом не был выдержан в определенном стиле, не отвечал традициям и был свободен от архитектурных предрассудков. Но он с такой необычайной быстротой впитывал копоть столицы, что его стены уже приобрели почтенное сходство со старинными особняками, построенными еще Рэном. Окна и двери были сверху слегка закруглены. Острая крыша мягкого пепельно-розового цвета была почти что датской, и два «премиленьких окошечка» глядели сверху,

создавая впечатление, будто там, наверху, живут очень рослые слуги. Комнаты были расположены по обе стороны парадной двери — широкой, обрамленной лавровыми деревьями в черных с золотом кадках. Дом был очень глубок, и лестница, широкая и целомудренно-простая, начиналась в дальнем конце холла, в котором было достаточно места для целой массы шляп, пальто и визитных карточек. В доме было четыре ванн — и никакого подвального помещения, даже погреба. Приобретению этого дома помогло форсайтское чутье на недвижимое имущество. Сомс нашел его для дочери в тот психологический момент, когда пузырь инфляции был проколот и воздух выходил из воздушного шара мировой торговли. Однако Флер немедленно вошла в контакт с архитектором — сам Сомс так и не примирился с этой категорией людей — и решила, что в доме будут только три стиля: китайский, испанский и ее собственный. Комната налево от парадной двери, проходившая во всю глубину дома, была китайской: панели слоновой кости, медный пол, центральное отопление и хрустальные люстры. На стенах висели четыре картины, все китайские — единственная школа, которой еще не занимался ее отец. Широкий открытый камин украшали китайские собаки на китайских изразцах. Шелка были преимущественно изумрудно-зеленые. Два чудесных черных

шкафчика были куплены у Джобсона на деньги Сомса, и не дешево. Рояля не было, отчасти потому, что рояль — вещь неоспоримо западная, отчасти потому, что он занял бы слишком много места. Флер нужен был простор — ведь она коллекционировала скорее людей, чем мебель и безделушки. Свет, падавший через окна с двух противоположных сторон, не был, к сожалению, китайским. Флер часто стояла посреди комнаты, обдумывая, как «подобрать» гостей, как сделать эту комнату еще более китайской, не жертвуя уютом; как казаться знатоком литературы и политики, как принимать подарки отца, не давая ему почувствовать, что его вкусы устарели; как удержать Сибли Суона, новую литературную звезду, и заполучить Гэрдона Минхо — старую знаменитость. Она думала о том, что Уилфрид Дезерт слишком серьезно увлекся ею; о том, в каком стиле ей, собственно, надо одеваться, о том, почему у Майкла такие смешные уши; а иногда она стояла, просто ни о чем не думая, а так, чуть-чуть тоскуя.

Когда трое мужчин вошли, она сидела у красного лакированного чайного стола, допивая чай со всякими вкусными вещами. Она обычно просила подавать себе чай пораньше, чтобы можно было как следует «угоститься» на свободе: ведь ей еще не было двадцати одного года, и в этот час она

вспоминала о своей молодости. Рядом с ней, на задних лапах, стоял Тинг-а-Линг, поставив рыжие передние лапки на китайскую скамеечку и подняв курносую черно-рыжую мордочку к объектам своего философического созерцания.

— Хватит, Тинг-а-Линг! Довольно, душенька!

Довольно!

Выражение мордочки Тинг-а-Линга говорило: «Ну, тогда и сама не ешь! Не мучай меня!»

Ему был год и три месяца, и купил его Майкл с витрины магазина на Бонд-стрит к двадцатому дню рождения Флер, одиннадцать месяцев тому назад.

Два года замужества не сделали ее короткие каштановые волосы длиннее, но придали немного больше решимости ее подвижным губам, больше обаяния ее карим глазам под белыми веками с темными ресницами, больше уверенности и грации походке; несколько увеличился объем груди и бедер; талия и щиколотки стали тоньше, чуть побледнел румянец на щеках, слегка потерявших округлость, да в голосе, ставшем чуть вкрадчивее, исчезла былая мягкость.

Она встала из-за стола и молча протянула белую круглую руку. Она избегала излишних приветствий и прощаний. Ей так часто пришлось бы повторять одинаковые слова — лучше было обойтись взглядом, пожатием руки, легким

наклоном головы.

Пожав протянутые руки, она проговорила:

— Садитесь. Вам сливок, сэр? С сахаром, Уилфрид? Тинг и так объелся, не кормите его. Майкл, угощай! Я уже слышала о собрании у «Шутников». Ведь ты не собираешься агитировать за лейбористов, Майкл? Агитация — такая глупость! Если бы меня кто-нибудь вздумал агитировать, я бы сразу стала голосовать наоборот.

— Конечно, дорогая; но ведь ты не рядовой избиратель.

Флер взглянула на него. Очень мило сказано! Видя, что Уилфрид кусает губы, что сэр Лоренс это замечает, не забывая, что ее обтянутая шелком нога всем видна, что на столе — черные с желтым чайные чашки, она сразу сумела все наладить. Взмах темных ресниц — и Дезерт перестал кусать губы; движение шелковой ноги — и сэр Лоренс перестал смотреть на него. И, передавая чашки, Флер сказала:

— Что же, я недостаточно современна?

Не поднимая глаз и мешая блестящей ложечкой в крохотной чашке, Дезерт проговорил:

— Вы настолько же современнее всех современных людей, насколько вы древнее их.

— Упаси нас, боже, от поэзии! — сказал Майкл.

Но когда он увел отца посмотреть новые

карикуры Обри Грина, она сказала:

— Будьте добры объяснить мне, что вы хотели этим сказать, Уилфрид?

Голос Дезерта потерял всякую сдержанность.

— Не все ли равно? Мне не хочется терять времени на разъяснения.

— Но я хочу знать. Это звучало насмешкой.

— Насмешка? С моей стороны? Флер!

— Тогда объясните.

— Я хотел сказать, что вам присуща вся неугомонность, вся практическая хватка современников, но у вас есть то, чего лишены они, Флер, — способность сводить людей с ума. И я схожу с ума. Вы знаете это.

— Как бы отнесся к этому Майкл? Вы его друг!

Дезерт быстро отошел к окну.

Флер взяла Тинг-а-Линга на колени. Ей и раньше говорили такие вещи, но со стороны Уилфрида это было серьезно. Приятно, конечно, сознавать, что она владеет его сердцем. Только куда же ей спрятать это сердце, чтобы никто его не видел? Нельзя предугадать, что сделает Дезерт, он способен на странные поступки. Она побаивалась — не его, нет, а этой его черты. Он вернулся к камину и сказал:

— Некрасиво, не правда ли? Да спустите вы эту проклятую собачонку, Флер, я не вижу вашего

лица. Если бы вы по-настоящему любили Майкла — клянусь, я бы молчал; но вы знаете, что это не так.

Флер холодно ответила:

— Вы очень мало знаете. Я в самом деле люблю Майкла.

Дезерт отрывисто засмеялся.

— Да, конечно; но такая любовь не идет в счет.

Флер поглядела на него.

— Нет, идет: с ней я в безопасности.

— Цветок, который мне не сорвать?

Флер кивнула головой.

— Наверное, Флер? Совсем, совсем наверное?

Флер пристально глядела перед собой; ее взгляд слегка смягчился, ее веки, такой восковой белизны, опустились; она кивнула.

Дезерт медленно произнес:

— Как только я этому поверю, я немедленно уеду на Восток.

— На Восток?

— Не так избито, как «уехать на Запад»⁷. Но в общем одно и то же: возврата нет.

Флер подумала: «На Восток? Как бы мне хотелось увидеть Восток! Жаль, что этого нельзя

⁷ «Уехать на Запад» — погибнуть (военный сленг).

устроить, очень жаль!»

— Меня не удержать в вашем зверинце, дорогая, я не стану попрошайничать и питаться крохами. Вы знаете, что я испытываю, — настоящее потрясение.

— Но ведь это не моя вина, не так ли?

— Нет, ваша: вы меня включили в свою коллекцию, как включаете всякого, кто приближается к вам!

— Не понимаю, что вы хотите сказать!

Дезерт наклонился и поднес ее руку к губам.

— Не будьте злокой, я слишком несчастлив.

Флер не отнимала руки от его горячих губ.

— Мне очень жаль, Уилфрид.

— Ничего, дорогая. Я пойду.

— Но вы ведь придете завтра к обеду?

Дезерт обозлился.

— Завтра? О боги — конечно, нет! Из чего я, по-вашему, сделан?

Он отшвырнул ее руку.

— Я не люблю грубости, Уилфрид.

— Ну, прощайте! Мне лучше уйти!

На ее губах трепетали слова: «И лучше больше не приходите», но она промолчала. Расстаться с Уилфридом? Жизнь утратит частицу тепла. Она махнула рукой. Он ушел. Слышно было, как закрылась дверь. Бедный Уилфрид! Приятно думать об огне, у которого можно согреть руки.

Приятно — и немного жутко. И вдруг, спустив Тинг-а-Линга на пол, она встала и зашагала по комнате. Завтра! Вторая годовщина ее свадьбы! Все еще больно ей думать о том, чем могла бы стать эта свадьба. Но думать было некогда — и она не останавливалась на этой мысли. К чему думать? Живешь только раз, вокруг — люди, масса дел, многого нужно добиться, взять от жизни. Не хватает, правда, одного — ну, да впрочем, если у людей это есть, так тоже ненадолго! Слезы, набежавшие на ее ресницы, высохли, не скатившись. Сентиментальность! Нет! Самое тяжелое в мире — нестерпимая обида! А кого с кем посадить завтра? Кого бы позвать вместо Уилфрида, если Уилфрид не придет — вот глупый мальчик! Один день, один вечер — не все ли равно? Кто будет сидеть справа от нее, а кто слева? Кто изысканнее: Обри Грин или Сибли Суон? Может быть, они оба не так изысканны, как Уолтер Нэйзинг или Чарлз Эпшир? Обед на двенадцать человек — все из литературно-художественного мира, кроме Майкла и Элисон Черрел. Ах, не может ли Элисон привести к ней Гэрдона Минхо — пусть будет один из старых писателей, как один стакан старого вина, чтобы смягчить шипучий напиток. Он не печатался у Дэнби и Уинтера, но Элисон вполне его приручила. Флер быстро подошла к одному из старинных шкафчиков и открыла его. Внутри был

телефон.

— Можно попросить леди Элисон?.. Миссис Майкл Монт... да, да. Это вы, Элисон? Говорит Флер. На завтрашний вечер Уилфрид отпадает... Скажите, не сможете ли вы привести мистера Гэрдона Минхо?.. Я с ним, конечно, не знакома, но, может быть, ему будет интересно... Попробуете? Ну, это будет просто восхитительно!.. Вы не находите, что собрание в «Клубе шутников» было страшно интересное?.. Барт говорит, что теперь, после раскола, они все там перегрызутся... Да, как же быть с мистером Минхо? Не можете ли вы дать мне ответ сегодня вечером? Спасибо, большое спасибо... До свидания!

А если Минхо не придет — кого тогда? Она задумалась над своей записной книжкой. В последнюю минуту удобно пригласить только человека без светских предрассудков; кроме Элисон, никто из родных Майкла не избежал бы едких насмешек Несты Горз или Сибли Суона. О Форсайтах и речи быть не может. Правда, они обладают своим особым кисло-сладким юмором (по крайней мере некоторые из них), но они несовременны, не вполне современны. Кроме того, она старалась встречаться с ними как можно реже. Они устарели, были слишком связаны с грустными воспоминаниями, они не умели воспринимать жизнь без начала и конца. Нет, если Гэрдон Минхо

пролетит, придется пригласить какого-нибудь композитора, только чтобы его произведения были сплошной загадкой и напоминали хирургическую операцию; или еще лучше, пожалуй, позвать психоаналитика. Флер перелистала всю книжку, пока не дошла до этих двух профессий. Гуго Солстис? Пожалуй; но вдруг он захочет сыграть что-нибудь из своих последних вещей? В доме было только старое пианино Майкла, значит, пришлось бы перейти в его кабинет. Лучше Джералд Хэнкс: они с Нестой Горз погрузятся в толкование снов, но от этого общее оживление не пострадает. Значит, если не Гэрдон Минхо — пригласить Джералда Хэнкса, он, наверное, свободен, и посадить его между Элисон и Нестой. Она закрыла книжку и, вернувшись на свой ярко-зеленый диван, стала разглядывать Тинг-а-Линга. Выпуклые круглые глаза уставились на нее. Черные, блестящие, очень старые глаза. Флер подумала: «Я не хочу, чтобы Уилфрид ушел». Из всей толпы людей, снующих вокруг нее, ей никто не был нужен. Конечно, надо быть со всеми в прекрасных отношениях, надо быть в прекрасных отношениях с жизнью вообще. Все это ужасно занятно, ужасно необходимо! Только, только... что?

Голоса! Майкл и Барт идут сюда. Барт заметил насчет Уилфрида. Ужасно

наблюдательный «Старый Барт». Ей всегда бывало не по себе в его обществе — он такой живой, непоседливый, но что-то в нем есть установившееся, старинное, что-то общее с Тинг-а-Лингом, что-то поучительное, вечно напоминающее ей о том, что она сама слишком суетна, слишком современна. Он как на привязи: может двигаться только на длину этой старомодной своей цепи; но он невероятно умеет подмечать все. Однако она чувствует, что он восхищается ею — да, да!

Ну, как ему понравились карикатуры? Стоит ли Майклу их печатать, и давать ли подписи или не надо? Не правда ли, этот кубистический набросок «Натюрморт» — карикатура на правительство — невысказанно смешной? Особенно старикан, изображающий премьер-министра! В ответ затрещала быстрая, скачущая речь: сэръ Лоренс рассказывал ей о коллекции предвыборных плакатов, собранной его отцом. Лучше бы Барт перестал ей рассказывать о своем отце: он был до того знатный и, наверно, ужасно скучный, — в особенности когда отдавал визиты верхом, в панталонах со штрипками! Он, и лорд Чарльз Кэрибу, и маркиз Форфар были последними «визитерами» в таком духе. Если бы не это, их забыли бы совершенно. Ей надо еще примерить новое платье и сделать двадцать дел, а в восемь

пятнадцать начинается концерт Гуго. Почему у людей прошлого поколения всегда было столько свободного времени? Она нечаянно посмотрела вниз. Тинг-а-Линг лизал медный пол. Она подняла его: «Нельзя, миленький, фу, гадость!» Ну вот, чары нарушены. Барт уходит, все еще полный воспоминаний. Она подождала внизу у лестницы, пока Майкл закрыл за Бартом дверь, и полетела наверх. В своей комнате она зажгла все лампы. Тут царил ее собственный стиль — кровать, непохожая на кровать, и всюду зеркала. Ложе Тинг-а-Линга помещалось в углу, откуда он мог видеть целых три своих отражения. Она посадила его, сказав: «Ну, теперь сиди тихо!» Он давно уже относился ко всем остальным собакам в комнате совершенно равнодушно; хотя они были одной с ним породы и в точности той же масти, но у них не было запаха, их языки не умели лизать, — нечего было делать с ними, — поддельные существа, совершенно бесчувственные.

Сняв платье, Флер прикинула новое, придерживая его подбородком.

— Можно тебя поцеловать? — слышался голос, и двойник Майкла вырос за ее собственным изображением в зеркале.

— Некогда, милый мой мальчик! Помоги мне лучше. — Она натянула платье через голову. — Застегни три верхние крючка. Тебе нравится? Ах

да, Майкл! Может быть, завтра к обеду придет Гэрдон Минхо — Уилфрид занят. Ты его читал? Садись, расскажи мне о его вещах. Романы, правда? Какого рода?

— Ну, ему всегда есть что сказать. Хорошо описывает кошек. Конечно, он немного романтик.

— О-о! Неужели я промахнулась?

— Ничуть. Наоборот, очень удачно. Беда нашей публики в том, что говорят они очень неплохо, но сказать им нечего. Они не останутся в литературе.

— А по-моему, они именно потому и останутся. Они не устареют.

— Не устареют? Как бы не так!

— Уилфрид останется.

— Уилфрид? О, у него есть чувства: ненависть, жалость, желания, во всяком случае, иногда появляются; а когда это бывает, он пишет прекрасно. Но обычно он просто пишет ни о чем — как и все остальные.

Флер поправила платье у выреза.

— Но, Майкл, если это так, то у себя мы... я встречаюсь совсем не с теми людьми, с которыми стоит.

Майкл широко улыбнулся.

— Милое мое дитя! С теми, кто в моде, всегда стоит встречаться, только надо хорошенько следить и менять их побыстрее.

— Но, Майкл, ведь ты не считаешь, что Сибли не переживет себя?

— Сиб? Конечно, нет.

— Но он так уверен, что все остальные уже отжили свой век или отживают. Ведь у него настоящий критический талант.

— Если бы я понимал в искусстве не больше Сибли, я бы завтра же ушел из издательства.

— Ты понимаешь больше, чем Сибли Суон?

— Ну, конечно, я больше понимаю. Вся критика Сиба сводится к высокому мнению о Сибе — и самой обыкновенной нетерпимости ко всем остальным. Он их даже не читает. Прочтет одну книгу каждого автора и говорит: «Ах, этот? Он скучноват», или «он — моралист», или «он сентиментален», «устарел», «плетет чушь», — я сто раз это слышал. Конечно, так он говорит только о живых. С мертвыми авторами он обходится иначе. Он вечно выкапывает и канонизирует какого-нибудь покойника — этим он и прославился. В литературе всегда были такие Сибы. Он яркий пример того, как человек может внушить о себе какое угодно мнение. Но, конечно, в литературе он не останется: он никогда ничего не создал своего — даже по ошибке.

Флер упустила нить разговора. Да, платье ей очень к лицу — прелестная линия. Можно снять — надо еще написать три письма, прежде чем

одеваться.

Майкл снова заговорил:

— Ты послушай меня, Флер. Истинно великие люди не болтают и не толкаются в толпе — они плывут одни в своих лодочках по тихим протокам. Но из протоков выходят потоки! Ого, как я сказал! Прямо — mot! Или не совсем mot?

— Майкл, ты на моем месте сказал бы Фредерику Уилмеру, что он встретит Губерта Марсленда у меня за завтраком на будущей неделе? Будет это для него приманкой или отпугнет его?

— Марсленд — милая старая утка, а Уилмер — противный старый гусь; право, не знаю!

— Ну, будь же серьезен, Майкл, — никогда ты мне не поможешь ничего устроить. Не щекочи мне, пожалуйста, плечи!

— Дорогая, ей-богу, не знаю. У меня нет, как у тебя, таланта на такие дела. Марсленд пишет ветряные мельницы, скалы и всякое такое — я сомневаюсь, слышал ли он что-нибудь об искусстве будущего. Он просто уникам в смысле умения держаться далеко от современности. Если ты думаешь, что ему будет приятно встретиться с вертижинистом...⁸

⁸ Название декадентского течения в искусстве (от французского слова «vertige» — головокружение).

— Я не спрашиваю тебя, захочется ли ему встретиться с Уилмером; я спросила тебя, захочет ли Уилмер встретиться с ним.

— Ну, Уилмер только скажет: «Люблю маленькую миссис Монт, уж очень здорово она кормит», и ты действительно хорошо кормишь, детка. А вертижинисту нужно хорошо питаться, иначе у него голова не закружится.

Перо Флер снова быстро забегало по бумаге — строчки стали чуть неразборчивее. Она пробормотала:

— По-моему, Уилфрид выручит — ведь тебя не будет. Один, два, три. Каких женщин звать?

— Для художников? Хорошеньких и толстеньких; ума не требуется.

Флер рассердилась:

— Где же мне взять толстых? Их теперь и не бывает. — Ее перо бегло застрочило:

«Милый Уилфрид, в пятницу
завтрак: Уилмер, Губерт Марсленд и
две женщины. Выручайте!

Всегда Ваша *Флер*».

— Майкл, у тебя подбородок — как сапожная щетка!

— Прости, маленькая; у тебя слишком нежные плечи. Барт сегодня дал Уилфриду

замечательный совет, когда мы шли сюда,

Флер перестала писать.

— Да?

— Напомнил ему, что состояние влюбленности здорово вдохновляет поэтов.

— По какому же это поводу?

— Уилфрид жаловался, что у него стихи что-то не выходят.

— Какая чепуха! Его последние вещи лучше всего.

— Да, я тоже так считаю. А может быть, он уже предвосхитил совет? Ты не знаешь, а?

Флер взглянула через плечо ему в лицо. Нет, такое же, как всегда, — открытое, добродушное, слегка похожее на лицо фавна: чуть торчащие уши, подвижные губы и ноздри.

Она медленно проговорила:

— Если ты ничего не знаешь, то никто не знает.

Какое-то сопение помешало Майклу ответить. Тинг-а-Линг, длинный, низенький, немного приподнятый с обоих концов, стоял между ними, задрав свою черную мордочку. «Родословная у меня длинная, — казалось, говорил он, — да вот ноги короткие; как же быть?»

III. МУЗЫКА

Следуя великому руководящему правилу, Флер и Майкл пошли на концерт Гуго Солстиса не для того, чтобы испытать удовольствие, а потому, что были знакомы с композитором. Кроме того, они чувствовали, что Солстис, англичанин русско-голландского происхождения, — один из тех, кто возрождает английскую музыку, великодушно освобождая ее от мелодии и ритма и щедро наделяя литературными и математическими достоинствами. Побывав на концерте музыкантов этой школы, невозможно было не сказать, уходя: «Очень занятно!» И спать под такую обновленную английскую музыку было невозможно. Флер, любившая поспать, даже и не пыталась. Майкл попробовал и потом жаловался, что это все равно, что спать на Льежском вокзале. В этот вечер они занимали у прохода в первом ряду амфитеатра те места, на которые у Флер была своего рода естественная монополия. Видя ее здесь, Гуго и прочие могли убедиться, что и она принимает участие в английском возрождении. И отсюда легко было ускользнуть в фойе и обменяться словом «занятно!» с какими-нибудь знатоками, украшенными бачками; или, вытянув папироску из маленького золотого портсигара — свадебный подарок кузины Имоджин Кардиган, — отдохнуть за двумя-тремя затяжками. Говоря совершенно честно, Флер обладала врожденным чувством

ритма, и ей было очень не по себе во время этих бесконечных «занятных» пассажей, явно избобличавших все перипетии тернистого пути композитора. Она втайне любила мелодию, и невозможность сознаться в этом, не выпустив из рук Солстиса, Баффа, Бэрдингэла, Мак-Льюиса, Клорейна и других обновителей английской музыки, иногда требовала предельного напряжения всех спартанских сторон ее натуры. Даже Майклу она не решалась «исповедаться», и ей становилось труднее, когда он, с присущим ему непочтением к авторитету, еще усилившимся от жизни в окопах и работы в издательстве, бормотал вполголоса: «Боже, ну и заверчено!» или: «Эк его разбирает!» А ведь она знала, что Майкл гораздо лучше ее переносит эту музыку, потому что у него больше склонности к литературе и меньше танцевального зуда в пальцах ног.

Первая тема нового произведения Солстиса «Пьемонтская фантазмагория» — ради него они, собственно, и пришли — началась рядом громких арпеджий.

— Вот это да! — прошептал Майкл ей на ухо. — Мебель двигают, штуки три разом, по паркетному полу!

Невольная улыбка Флер выдала тайну, почему брак не стал для нее невыносимым. В конце концов Майкл все-таки прелесть! Обожание и живость,

остроумие и преданность — такое сочетание трогало и задевало даже сердце, которое принадлежало другому, прежде чем было отдано ему. «Трогательность» без «задевания» была бы скучной; «задевание» без «трогательности» раздражало бы. В эту минуту он был особенно привлекателен. Положив руки на колени, с остекленелыми от сочувствия к Гуго глазами, наострив уши и втайне подсмеиваясь, он слушал вступление с таким видом, что Флер просто восхищалась им. Музыка, очевидно, будет «занятой», и Флер погрузилась в состояние поверхностной наблюдательности и внутренней сосредоточенности, ставшее столь обычным для нее в последнее время. Вон сидит Л. С. Д. — знаменитый драматург; она с ним не знакома — пока еще. Вид у него довольно страшный, уж очень торчат кверху волосы. Флер представила себе, как он стоит на медном полу перед одной из ее китайских картин. А вот — да, конечно! — Гэрдон Минхо! Только подумать, что он пришел слушать эту новую музыку! Профиль у него совершенно римский — аврелианского периода! Она оторвалась от созерцания этой древности с приятным чувством, что завтра он, быть может, попадет в ее коллекцию, и стала рассматривать по очереди всех присутствующих — ей не хотелось пропустить кого-нибудь нужного.

«Мебель» внезапно остановилась.

— Занятно! — произнес голос у плеча Флер.

Обри Грин! Весь нереальный, словно пронизанный лунным светом! — шелковистые светлые волосы, гладко зачесанные назад, и зеленоватые глаза; когда он улыбался, ей всегда казалось, что он ее «разыгрывает». Но ведь он в конце концов карикатурист!

— Да, занятно!

Он ускользнул. Мог бы остаться еще минутку — все равно никто не успеет подойти до исполнения песен Бэрдигэла. Вот уже выходит певец — Чарлз Паулз. Какой он толстый и решительный и как тащит маленького Бэрдигэла к роялю!

Прелестный аккомпанемент — журчащий, мелодичный!

Толстый решительный мужчина запел. Как не похоже на аккомпанемент! Мелодия, казалось, состояла из одних фальшивых нот и с математической точностью отнимала у Флер всякую возможность испытывать удовольствие. Бэрдигэл, очевидно, писал, больше всего на свете боясь, что его вещь кто-нибудь назовет «певучей». Певучей! Флер понимала, насколько это слово заразительно. Оно обойдет всех, как корь, и Бэрдигэл будет изничтожен. Бедный Бэрдигэл! Конечно, песни вышли занятные. Только, как

говорит Майкл: «Господи, что же это?»

Три песни! Паулз изумителен — честно работает. Ни единой ноты не взял так, чтобы было похоже на музыку! Мысли Флер вернулись к Уилфриду. Только за ним, из всех молодых поэтов, признавалось право о чем-то говорить всерьез. Это создавало ему особое положение — он как бы исходил от жизни, а не от литературы. Кроме того, он выдвинулся на войне, был сыном лорда Мэллиона, вероятно, получит Мерсеровскую премию за «Медяки». Если Уилфрид бросит ее, то упадет звезда с сияющего над ее медным полом неба. Он не имеет права так уходить от нее. Он должен научиться сдерживаться — не думать так физиологически. Нет! Нельзя упускать Уилфрида; но и нельзя опять вводить в свою жизнь слезы, душераздирающие страсти, безвыходное положение, раскаяние. Она уже раз испытала все это: заглушенная тоска до сих пор служила предостережением.

Бэрдигэл раскланивался. Майкл сказал: «Выйдем покурить. Дальше — скучища!» А, Бетховен! Бедный старик Бетховен! Так устарел — даже приятно его послушать!

В коридорах и буфете только и было разговоров, что о возрождении. Юноши и молодые дамы с живыми лицами и растрепанными волосами обменивались словом «занятно!». Более солидные

мужчины, похожие на отставных матадоров, загораживали все проходы. Флер и Майкл прошли подальше и, став у стены, закурили. Флер очень осторожно курила свою крохотную папироску в малюсеньком янтарном мундштуке. Она как будто больше любовалась синеватым дымком, чем действительно курила; приходилось считаться не только с этой толпой: никогда не знаешь, с кем встретишься! Например, круг, где вращалась Элисон Черрел, — политико-литературный, все люди с широкими взглядами, но, как всегда говорит Майкл, «уверенные, что они единственные люди в мире; посмотри только, как они пишут мемуары друг о друге». Флер чувствовала, что этим людям может не понравиться, если женщины курят в общественных местах. Осторожно присоединяясь к иконоборцам, Флер никогда не забывала, что принадлежит по крайней мере двум мирам. Наблюдая все, что происходило вокруг нее, она вдруг заметила у стены человека, спрятавшего лицо за программой. «Уилфрид, — подумала она, — и притворяется, что не видит меня!» Обиженная, как ребенок, у которого отняли игрушку, она сказала:

— Вон Уилфрид, приведи его сюда, Майкл!

Майкл подошел и коснулся рукава своего друга. Показалось нахмуренное лицо Дезерта. Флер видела, как он пожал плечами, повернулся и смешался с толпой. Майкл вернулся к ней.

— Уилфрид здорово не в духе, говорит, что сегодня не годен для человеческого общества. Чудак!

До чего мужчины тупы! Оттого, что Уилфрид — его приятель, Майкл ничего не замечает; и счастье, что это так. Значит, Уилфрид действительно решил ее избегать. Ладно, посмотрим! И она сказала:

— Я устала, Майкл, поедем домой.

Он взял ее под руку.

— Бедняжка моя! Ну, пошли!

На минуту они задержались у двери, которую забыли закрыть, и смотрели, как Вуман, дирижер, изогнулся перед оркестром.

— Посмотри на него — настоящее чучело, вывешенное из окна: руки и ноги болтаются, точно набитые опилками. А погляди на Фрапку с ее роялем — мрачный союз!

Послышался странный звук.

— Ей-богу, мелодия! — сказал Майкл.

Капельдинер прошептал ему на ухо: «Позвольте, сэр, я закрываю двери». Флер мельком заметила знаменитого драматурга Л. С. Д., сидевшего с закрытыми глазами, так же прямо, как торчали его волосы. Дверь закрылась — они остались в фойе.

— Подожди здесь, дорогая, я раздобуду рикшу.

Флер спрятала подбородок в мех. С востока дул холодный ветер.

За спиной раздался голос:

— Ну, Флер, ехать мне на Восток?

Уилфрид! Воротник поднят до ушей, папироска во рту, руки в карманах, пожирает ее глазами.

— Вы глупый мальчик, Уилфрид!

— Думайте, что хотите. Ехать мне на Восток?

— Нет. В воскресенье утром — в одиннадцать часов, в галерее Тэйт. Мы поговорим.

— *Convenu!*⁹

И ушел.

Оставшись внезапно одна, Флер вдруг словно впервые посмотрела в лицо действительности. Неужели ей не справиться с Уилфридом? Подъехал автомобиль. Майкл кивнул ей, Флер села в машину.

Проезжая мимо заманчиво освещенного оазиса, где молодые дамы демонстрировали любопытным лондонцам последнее слово парижских дезабилье, Флер почувствовала, что Майкл склонился к ней... Если она намерена сохранить Уилфрида, надо быть поласковой с Майклом. Но только...

— Не надо целовать меня посреди Пикадилли,

⁹ Решено! (*франц.*).

Майкл.

— Прости, маленькая. Конечно, это преждевременно: я собирался тебя поцеловать только у Партенеума!

Флер вспомнила, как он спал на диване в испанской гостинице в первые две недели их медового месяца; как он всегда настаивал, чтобы она не тратила на него ни пенни, а сам дарил ей все, что хотел, хотя у нее было три тысячи годового дохода, а у него только тысяча двести фунтов; как он беспокоился, когда у нее бывал насморк, и как он всегда приходил вовремя к чаю. Да, Майкл — прелесть. Но разобьется ли ее сердце, если он завтра уедет на Восток или на Запад?

Прижимаясь к нему, она сама удивлялась своему цинизму.

В передней она нашла телефонограмму: «Пожалуйста, передайте миссис Монт, что я заполучила мистера Гэрдина Миннер. Леди Элисон».

Как приятно! Подлинная древность! Флер зажгла свет и на минуту остановилась, любуясь своей комнатой. Действительно мило! Негромкое сопение послышалось из угла. Тинг-а-Линг, рыжий на черной подушке, лежал, словно китайский лев в миниатюре, чистый, далекий от всего, только что вернувшийся с вечерней прогулки вдоль ограды сквера.

— Я тебя вижу, — сказала Флер.

Тинг-а-Линг не пошевелинулся. Его круглые черные глаза следили, как раздевалась хозяйка. Когда она вернулась из ванной, он лежал, свернувшись клубком. «Странно, — подумала Флер, — откуда он знает, что Майкл не придет?» И, скользнув в теплую постель, она тоже свернулась клубком и заснула.

Но среди ночи она почему-то проснулась. Зов — долгий, странный, протяжный — откуда-то с реки, из трущоб позади сквера, — и воспоминание — острое, болезненное — медовый месяц, Гренада — крыши внизу, — чернь, слоновая кость, золото, — оклик сторожа под окном, строки в письме Джона:

Голос, в ночи
звонящий, в сонном и
старом испанском
Городе,
потемневшем в свете
бледнеющих звезд.

Что говорит голос —
долгий,
звонко-тоскливый?

Просто ли сторож
кличет, верный покой
суля?

Просто ли путника
песня к лунным лучам
летит?

Нет! Влюбленное
сердце плачет, лишенное
счастья,

Просто зовет:
«Когда?»

Голос — а может быть, ей приснилось? Джон,
Уилфрид, Майкл! Стоит ли иметь сердце!

IV. ОБЕД

Леди Элисон Черрел, урожденная Хитфилд, дочь первого графа Кемдена и жена королевского адвоката Лайонеля Черрела, еще не старого человека, приходившегося Майклу дядей, была очаровательной женщиной, воспитанной в той среде, которую принято считать центром общества. Это была группа людей неглупых, энергичных, с большим вкусом и большими деньгами. «Голубая кровь» их предков определяла их политические связи, но они держались в стороне от «Шутников» и прочих скучных мест, посещаемых представителями привилегированной касты. Эти люди — веселые, обаятельные, непринужденные — были, по мнению Майкла, «снобы, дружочек, и в

эстетическом и в умственном отношении, только они никогда этого не замечают. Они считают себя гвоздем мироздания, всегда оживлены, здоровы, современны, хорошо воспитаны, умны. Они просто не могут вообразить равных себе. Но, понимаешь, воображение у них не такое уж богатое. Вся их творческая энергия уместится в пинтовой кружке. Взять хотя бы их книги — всегда они пишут о *чем-то*: о философии, спиритизме, поэзии, рыбной ловле, о себе самих; даже писать сонеты они перестают еще в юности, до двадцати пяти лет. Они знают все — кроме людей, не принадлежащих к их кругу. Да, они, конечно, работают, они хозяева, и как же иначе: ведь таких умных, таких энергичных и культурных людей нигде не найти. Но эта работа сводится к топтанию на одном месте в своем несчастном замкнутом кругу. Для них он весь мир; могло быть и хуже! Они создали свой собственный золотой век, только война его малость подпортила».

Элисон Черрел, всецело связанная с этим миром, таким остроумно-задушевным, веселым, непринужденным и уютным, жила в двух шагах от Флер, в особняке, который был по архитектуре приятнее многих лондонских особняков. В сорок лет, имея троих детей, она сохранила свою незаурядную красоту, слегка поблекшую от усиленной умственной и физической деятельности.

Как человек увлекающийся, она любила Майкла, несмотря на его чудаческие выпады, так что его матримониальная авантюра сразу заинтересовала ее. Флер была изящна, обладала живым природным умом — новой племянницей безусловно стоило заняться. Но несмотря на то, что Флер была податлива и умела приспособляться к людям, она мало поддавалась обработке; она продолжала задевать любопытство леди Элисон, которая привыкла к тесному кружку избранных и испытывала какое-то острое чувство, сталкиваясь с новым поколением на медном полу в гостиной Флер. Там она встречала полную непочтительность ко всему на свете, которая, если не принимать ее всерьез, очень будоражила ее мысли. В этой гостиной она чувствовала себя почти что отсталой. Это было даже пикантно.

Приняв от Флер по телефону заказ на Гэрдона Минхо, леди Элисон сразу позвонила писателю. Она была с ним знакома — правда, не очень близко. Никто не был с ним близко знаком. Он был всегда любезен, вежлив, молчалив, немного скучноват и серьезен. Но он обладал обезоруживающей улыбкой — иногда иронической, иногда дружелюбной. Его книги были то едкими, то сентиментальными. Считалось хорошим тоном бранить его и за то и за другое — и все-таки он продолжал существовать.

Леди Элисон позвонила ему: не придет ли он завтра на обед к ее племяннику, Майклу Монту, познакомиться с молодым поколением?

В его ответе прозвучал неожиданный энтузиазм:

— С удовольствием! Фрак или смокинг?

— Как мило с вашей стороны! Вам будут страшно рады. Я думаю, лучше во фраке, — завтра вторая годовщина их свадьбы. — Она повесила трубку, подумав: «Должно быть, он пишет о них книгу».

Сознание ответственности заставило ее приехать рано.

Она приехала с таким чувством, что ее ждут занятные приключения: в кругах ее мужа решались большие дела, и ей было приятно переменить обстановку после целого дня суеты по поводу событий в «Клубе шутников». Ее принял один Тинг-а-Линг, сидевший спиной к камину, и удостоил ее только взглядом. Усевшись на изумрудно-зеленый диван, она сказала:

— Ну ты, смешной зверек, неужели не узнаешь меня после такого долгого знакомства?

Блестящие черные глаза Тинга словно говорили: «Знаю, что вы тут часто бываете; все на свете повторяется. И будущее не сулит ничего нового».

Леди Элисон задумалась. Новое поколение!

Хочется ли ей, чтобы ее дочери принадлежали к нему? Ей было бы интересно поговорить об этом с мистером Минхо — перед войной они так чудесно беседовали с ним в Бичгроуе. Девять лет назад! Сибил было шесть лет, Джоун — всего четыре года! Время идет, все меняется. Новое поколение! А в чем разница? «У нас было больше традиций», — тихо проговорила она.

Легкий шум заставил ее поднять глаза, устремленные на носок туфли. Тинг-а-Линг хлопал хвостом по ковру, словно аплодируя. Голос Флер раздался у нее за спиной:

— Дорогая, я страшно опоздала. До чего мило с вашей стороны, что вы раздобыли мне мистера Минхо! Надеюсь, наши будут хорошо себя вести. Во всяком случае, сидеть он будет между вами и мной. Я его посажу у верхнего конца стола, а Майкла — напротив, между Полиной Эпшир и Эмебел Нэйзинг. Слева от вас — Сибли, справа от меня — Обри, потом Неста Горз и Уолтер Нэйзинг, а напротив них Линда Фру и Чарлз Эпшир. Всего двенадцать человек. Вы со всеми знакомы. Да, не обращайтесь внимания, если Нэйзинги и Неста будут курить в антрактах между блюдами. Эмебел обязательно будет курить. Она из Виргинии — и у нее это реакция. Надеюсь, на ней будет хоть что-нибудь надето. Майкл, впрочем, уверяет, что это ошибка, когда она слишком одета. Но когда

ждешь мистера Минхо, как-то нервничаешь. Вы читали последнюю пародию Несты в «Букете»? Ужасно смешно! Совершенно ясный намек на Л. С. Д.! Тинг, мой милый Тинг, ты хочешь остаться и посмотреть гостей? Ну, тогда забирайся повыше, не то тебе отдавят лапки. Не правда ли, он совсем китايчонок! Он придает такую законченность комнате.

Тинг-а-Линг положил нос на лапы, улегшись на изумрудную подушку.

— Мистер Гэрдин Миннер!

Вошел знаменитый романист, бледный и сдержанный. Пожав обе протянутые руки, он взглянул на Тинг-а-Линга.

— Какой милый! — проговорил он. — Как же ты поживаешь, дружок?

Тинг-а-Линг даже не пошевелился.

«Вы, кажется, принимаете меня за обыкновенную английскую собаку, сэр?» — как будто говорило его молчание.

— Мистер и миссис Уолтер Незон, мисс Линда Фру.

Эмебел Нэйзинг вошла первая. На шесть дюймов выше талии до светлых волос — чистый алебастр ослепительной спины, на четыре дюйма ниже колен до ослепительных туфельек — чуть прикрытый алебастр ног; знаменитый романист машинально прервал беседу с Тинг-а-Лингом.

Уолтер Нэйзинг, следовавший за женой, был намного выше ее ростом и весь в черном, выступала только узенькая белая полоска воротничка; его лицо, словно выточенное сто лет назад, слегка напоминало лицо Шелли. И литературные его произведения иногда походили на стихи этого поэта, а иногда — на прозу Марселя Пруста. «Здорово заверчено!» — как говорил Майкл.

Линда Фру, которую Флер сразу познакомила с Гэрдоном Минхо, принадлежала к числу тех, о чьем творчестве никогда нельзя было услышать двух одинаковых суждений. Ее книги «Пустяки» и «Неистовый дон» вызвали полный раскол во мнениях. Гениальные, по мнению одних, бездарные, по мнению других, эти книги всегда вызывали интересный спор о том, поднимает ли легкий налет безумия ценность искусства или снижает? Сама писательница мало обращала внимания на критику — она творила.

— Тот самый мистер Минхо! Как интересно! Я не читала ни одного вашего романа.

Флер ахнула.

— Как, ты не знаешь кошек мистера Минхо? Но ведь они изумительны. Мистер Минхо, я очень хочу познакомить вас с женой Уолтера Нэйзинга. Эмебел, это — мистер Гэрдон Минхо.

— О! Мистер Минхо! Как замечательно! Я

чуть ли не с колыбели мечтаю с вами познакомиться.

Флер услышала спокойный ответ писателя: «Ну, это еще не такой долгий срок», и пошла навстречу Несте Горз и Сибли Суону, которые явились вдвоем, как будто жили вместе, ссорясь из-за Л. С. Д. Неста оправдывала его «задиристый» тон, Сибли уверял, что остроумие умерло вместе с эпохой Реставрации; этот человек был верен себе!

Вошел Майкл с Эпширами и Обри Грином, которых он встретил в холле. Все были в сборе.

Флер обожала безукоризненность во всем, а этот вечер был похож на бред. Удачен ли он? Минхо явно был наименее блестящим собеседником; даже Элисон говорила лучше. А все-таки у него великолепная голова. Флер втайне надеялась, что он не уйдет слишком рано, а то кто-нибудь обязательно скажет: «Вот ископаемое!» или «Толст и лыс!» — прежде чем за гостем закроется дверь. Он трогательно мил, старается понравиться или, во всяком случае, не вызвать слишком сильного презрения. И, конечно, в нем есть что-то большее, чем можно услышать в разговоре. После суфле из крабов он как будто увлекся беседой с Элисон, и все насчет молодежи. Флер слушала краем уха:

Молодежь чувствует... великий поток жизни... не дает им того, что им нужно... Прошное

и будущее окружены ореолом... О да! Современная жизнь обесценена сейчас... Нет... Единственное утешение для нас — мы станем когда-нибудь такой же стариной, как Конгрив, Стерн, Дефо... и снова будем иметь успех... Почему? Что отвлекает их от общего хода жизни? Просто пресыщение... газеты... фотографии. Жизни они не видят — только читают о ней... Одни репродукции; все кажется поддельным! унылым, продажным... и молодежь говорит: «Долой эту жизнь! Дайте нам прошлое или будущее!» Он взял несколько соленых миндалинок, и Флер увидела, что его глаза остановились на плечах Эмебел Нэйзинг. В том конце стола разговор был похож на игру в футбол — никто не держал мяч дольше, чем на один удар. Он перелетал от одного к другому. И после ряда удачных пассивок кто-нибудь протягивал руку за папироской и пускал голубое облако дыма над не покрытым скатертью обеденным столом. Флер наслаждалась великолепием своей испанской столовой — мозаичным полом, яркими фруктами из фарфора, тисненой кожей, медной отделкой и Сомсовым Гойей над мавританским диваном. Она быстро принимала мяч, когда он к ней залетал, но не брала на себя инициативы. Ее талант заключался в умении замечать все сразу. «Миссис Майкл Монт подавала» — блестящие нелепости Линды Фру, задор и поддразнивание Несты Горз, туманные

намеки Обри Грина, размашистые удары Сибли Суона, маленькие хладнокровные американские вольности Эмебел Нэйзинг, забавные выражения Чарлза Эпшира, рискованные парадоксы Уолтера Нэйзинга, критические замечания Полины Эпшир, легкомысленные шутки и шпильки Майкла, даже искреннюю оживленность Элисон и молчание Гэрдона Минхо — все это она подавала, выставляла напоказ, все время настороженно следя, чтобы мяч разговора не коснулся земли и не замер. Да, блестящий вечер, но — успех ли это?

Когда простились последние гости и Майкл пошел провожать Элисон домой, Флер села на зеленый диван и стала думать о словах Минхо: «Молодежь не получает того, что ей нужно». Нет! Что-то не ладится. — Не ладится, правда, Тинг? — Но Тинг-а-Линг устал, и только кончик одного уха дрогнул. Флер откинулась на спинку дивана и вздохнула. Тинг-а-Линг выпрямился и, положив передние лапы к ней на колени, посмотрел ей в лицо. «Смотри на меня, — как будто говорил он. — У меня все благополучно. Я получаю то, чего хочу, и хочу того, что получаю. Сейчас я хочу спать».

— А я — нет, — сказала Флер, не двигаясь.

— Возьми меня на руки, — попросил Тинг-а-Линг.

— Да, — сказала Флер, — мне кажется... Он милый человек, но это не тот человек, Тинг.

Тинг-а-Линг устроился поудобнее на ее обнаженных руках.

«Все в порядке, — как будто говорил он, — тут у вас слишком, много всяких чувств и тому подобное — в Китае их нет. Идем!»

V. ЕВА

Квартира Уилфрида Дезерта была как раз напротив картинной галереи на Корк-стрит. Являясь единственным представителем мужской половины аристократии, пишущим достойные печати стихи, он выбрал эту квартиру не за удобство, а за уединенность. Однако его «берлога» была обставлена со вкусом, с изысканностью, которая свойственна аристократическим английским семействам. Два грузовика со «всяким хламом» из Хэмширского имения старого лорда Мэллиона прибыли сюда, когда Уилфрид устраивался. Впрочем, его редко можно было застать в его гнезде, да и вообще его считали редкой птицей, и он занимал совершенно обособленное положение среди молодых литераторов, отчасти благодаря своей репутации постоянного бродяги. Он сам едва ли знал, где проводит время, где работает, — у него было что-то

вроде умственной клаустрофобии¹⁰, страх быть стиснутым людьми. Когда началась война, он только что окончил Итон; когда война кончилась, ему было двадцать три года — и не было на свете молодого поэта старше, чем он. Его дружба с Майклом, начавшись в госпитале, совсем было замерла и внезапно возобновилась, когда Майкл в 1920 году вступил в издательство Дэнби и Уинтера, на Блэйк-стрит, Ковент-Гарден. Стихи Уилфрида вызвали в новоиспеченном издателе буйный восторг. После душевных бесед над стихами поэта, ищущего литературного пристанища, была одержана победа над издательством, уступившим настояниям Майкла. Общая радость от первой книги, написанной Уилфридом и ставшей первым изданием Майкла, увенчалась свадьбой Майкла. Лучший друг и шафер! С тех пор Дезерт, насколько умел, привязался к этой паре; и надо отдать ему справедливость — только месяц назад ему стало ясно, что притягивает его не Майкл, а Флер. Дезерт никогда не говорил о войне, и от него нельзя было услышать о том впечатлении, которое сложилось у него и которое он мог бы выразить так: «Я столько времени жил среди ужасов и смертей, я видел людей в таком неприкрашенном виде, я так

¹⁰ Боязнь замкнутого пространства.

нешадно изгонял из своих мыслей всякую надежду, что у меня теперь никогда не может быть ни малейшего уважения к теориям, обещаниям, условностям, морали и принципам. Я слишком возненавидел людей, которые копались во всех этих умствованиях, пока я копался в грязи и крови. Иллюзии кончились. Никакая религия, никакая философия меня не удовлетворяют — слова, и только слова. Я все еще сохранил здравый ум — и не особенно этому рад. Я все еще, оказывается, способен испытывать страсть; еще могу скрипеть зубами, могу улыбаться. Во мне еще сильна какая-то окопная честность, но искренна ли она, или это только привычный след бывшего — не знаю. Я опасен, но не так опасен, как те, кто торгует словами, принципами, теориями, всякими фанатическими бреднями за счет крови и пота других людей. Война сделала для меня только одно — научила смотреть на жизнь как на комедию. Смеяться над ней — только это и остается!»

Уйдя с концерта в пятницу вечером, он прямо прошел к себе домой. И, вытянувшись во весь рост на монашеском ложе пятнадцатого века, скрашенном мягкими подушками и шелками двадцатого, он закинул руки за голову и погрузился в размышления: «Так дальше жить я не хочу. Она меня околдовала. Для нее это пустое. Но для меня это ад. В воскресенье покончу со всем. Персия —

хорошее место. Аравия — хорошее место, много крови и песка! Флер не способна просто отказаться от чего-нибудь. Но как она запутала меня! Обаянием глаз, волос, походки, звуками голоса — обаянием теплоты, аромата, блеска. Перейти границы — нет, это не для нее. А если так — что же тогда? Неужели я буду пресмыкаться перед ее китайским камином и китайской собачонкой и томиться такой тоской, такой лихорадочной жаждой из-за того, что я не могу целовать ее? Нет, лучше снова летать над немецкими батареями. В воскресенье! До чего женщины любят затягивать агонию. И ведь повторится то же самое, что было сегодня днем. „Как нехорошо с вашей стороны уходить теперь, когда ваша дружба мне так нужна! Оставайтесь, будьте моим ручным котенком, Уилфрид!“ Нет, дорогая, раз навсегда надо покончить с этим. И я покончу — клянусь богом!..»

Когда в этой галерее, где дан приют всему британскому искусству, так случайно, в воскресное утро, встретились двое перед Евой, вдыхающей аромат райских цветов, там, кроме них обоих, было еще шестеро подвыпивших юнцов, забредших сюда явно по ошибке, служитель музея и парочка из провинции; все они, по-видимому, были лишены способности замечать что бы то ни было. Кстати, встреча эта действительно казалась совершенно невыразительной. Просто двое молодых людей из

разочарованного круга общества обмениваются уничтожающими замечаниями по адресу прошлого. Дезерт своим уверенным тоном, улыбкой, светской непринужденностью никак не выдавал сердечной боли. Флер была бледнее его и интереснее. Дезерт твердил про себя: «Никакой мелодрамы — только не это!» А Флер думала: «Если я смогу заставить его всегда быть вот таким обыкновенным, я его не потеряю, потому что он не уйдет без настоящей вспышки».

Только когда они во второй раз оказались перед Евой, Уилфрид проговорил:

— Не знаю, зачем вы просили меня прийти, Флер. Я делаю глупость, что даю себя на растерзание. Я вполне понимаю ваши чувства. Я для вас вроде экземпляра эпохи Мин, с которым вам жалко расстаться. Но я вряд ли гожусь для этого; вот и все, что остается сказать.

— Какие ужасные вещи вы говорите, Уилфрид!

— Ну вот! Итак, мы расстаемся. Дайте лапку!

Его глаза — красивые, потемневшие глаза — трагически противоречили улыбающимся губам, и Флер, запинаясь, сказала:

— Уилфрид... я... я не знаю. Дайте мне подумать. Мне слишком тяжело, когда вы несчастны. Не уезжайте. Может быть, я... я тоже буду несчастна. Я... я сама не знаю.

Горькая мысль мелькнула у Дезерта: «Она не может меня отпустить — не умеет». Но он проговорил очень мягко:

— Не грустите, дитя мое. Вы забудете все это через две недели. Я вам что-нибудь пришлю в утешение. Почему бы мне не выбрать Китай — не все ли равно, куда ехать? Я вам пришлю настоящий экземпляр для китайской коллекции — более ценный, чем вот этот.

— Вы меня оскорбляете! Не надо! — страстно сказала Флер.

— Простите. Я не хочу сердить вас на прощание.

— Чего же вы от меня хотите?

— Ну послушайте! Зачем повторять все сначала! А кроме того, я все время с пятницы думаю об этом. Мне ничего не надо, Флер, — только благословите меня и дайте мне руку. Ну?

Флер спрятала руку за спину. Это слишком оскорбительно! Он принимает ее за хладнокровную кокетку, за жадную кошку — терзает, играя, мышей, которых и не собирается есть!

— Вы думаете, я сделана — изо льда? — спросила она и прикусила верхнюю губу. — Так нет же!

Дезерт посмотрел на нее: его глаза стали совсем несчастными.

— Я не хотел задеть ваше самолюбие, —

сказал он. — Оставим это, Флер. Не стоит.

Флер отвернулась и устремила взгляд на Еву — такая здоровая женщина, беззаботная, жадно вдыхающая полной грудью аромат цветов! Почему бы не быть такой вот беззаботной, не срывать все по пути? Не так уж много в мире любви, чтобы проходить мимо, не сорвав, не вдохнув ее. Убежать! Уехать с ним на Восток! Нет, конечно, она не способна на такую безумную выходку. Но, может быть... не все ли равно? — тот ли, другой ли, если ни одного из них не любишь по-настоящему!

Из-под опущенных белых век, сквозь темные ресницы Флер видела выражение его лица, видела, что он стоит неподвижнее статуи. И вдруг она сказала:

— Вы сделаете глупость, если уедете! Подождите! — И, не прибавив ни слова, не взглянув, она быстро ушла, а Дезерт стоял, как оглушенный, перед Евой, жадно рвущей цветы.

VI. «СТАРЫЙ ФОРСАЙТ» И «СТАРЫЙ МОНТ»

Флер была в таком смятении, что второпях чуть не наступила на ногу одному весьма знакомому человеку, стоявшему перед картиной Альма-Тадемы в какой-то унылой тревоге, как

будто задумавшись над изменчивостью рыночных цен.

— Папа! Ты разве в городе? Пойдем к нам завтракать, я страшно спешу домой.

Взяв его под руку и стараясь загородить от него Еву, она увела его, думая: «Видел он нас? Мог он нас заметить?»

— Ты тепло одета? — пробурчал Сомс.

— Очень!

— Верь вам, женщинам! Ветер с востока — а ты посмотри на свою шею! Право, не понимаю.

— Зато я понимаю, милый.

Серые глаза Сомса одобрительно осмотрели ее с ног до головы.

— Что ты здесь делала? — спросил он.

И Флер подумала: «Слава богу, не видел! Иначе он ни за что бы не спросил». И она ответила:

— Я просто интересуюсь искусством, так же как и ты, милый.

— А я остановился у твоей тетки на Грин-стрит. Этот восточный ветер отражается на моей печени. А как твой... как Майкл?

— О, прекрасно — изредка хандрит. У нас вчера был званый обед.

Годовщина свадьбы! Реализм Форсайтов заставил его пристально заглянуть в глаза Флер.

Опуская руку в карман пальто, он сказал:

— Я нес тебе подарок.

Флер увидела что-то плоское, завернутое в розовую папиросную бумагу.

— Дорогой мой, а что это?

Сомс снова спрятал пакетик в карман.

— После посмотрим. Кто-нибудь у тебя завтракает?

— Только Барт.

— «Старый Монт»? О господи!

— Разве тебе не нравится Барт, милый?

— Нравится? У меня с ним нет ничего общего.

— Я думала, что вы как будто сходитесь в политических вопросах.

— Он реакционер, — сказал Сомс.

— А ты кто, дорогой?

— Я? А зачем мне быть кем-нибудь? — И в этих словах сказала вся его политическая программа — не вмешиваться ни во что; чем старше он становился, тем больше считал, что это единственно правильная позиция для каждого здравомыслящего человека.

— А как мама?

— Прекрасно выглядит. Я ее совершенно не вижу — у нее гостит ее мамаша, она целыми днями в бегах.

Сомс никогда не называл мадам Ламот бабушкой Флер — чем меньше его дочь будет иметь дела со своей французской родней, тем

лучше.

— Ах! — воскликнула Флер. — Вот Тинг и кошка!

Тинг-а-Линг, вышедший на прогулку, рвался на поводке из рук горничной и отчаянно фыркал, пытаясь влезть на решетку, где сидела черная кошка, вся ощерившись, сверкая глазами.

— Дайте мне его, Элен. Иди к маме, милый.

И Тинг-а-Линг пошел: вырваться все равно было нельзя; но он все время оборачивался, фыря и скаля зубы.

— Люблю, когда он такой естественный, — сказала Флер.

— Выброшенные деньги — такая собака, — заметил Сомс. — Тебе надо было купить бульдога — пусть бы спал в холле. Нет конца грабежам. У тети украли дверной молоток.

— Я бы не рассталась с Тингом и за сто молотков.

— В один прекрасный день у тебя и его украдут — эта порода в моде!

Флер открыла дверь.

— Ой, — сказала она, — Барт уже пришел!

Блестящий цилиндр красовался на мраморном ларе, подаренном Сомсом и предназначенном для хранения верхнего платья, на страх моли.

Поставив свой цилиндр рядом с тем, Сомс поглядел на них. Они были до смешного

одинаковые — высокие, блестящие, с той же маркой внутри. Сомс опять стал носить цилиндр после провала всеобщей стачки и забастовки горняков 1921 года, инстинктивно почувствовав, что революция на довольно значительное время отсрочена.

— Так вот, — сказал он, вынимая розовый пакетик из кармана, — не знаю, понравится ли тебе, посмотри!

Это был причудливо выточенный, причудливо переливающийся кусочек опала в оправе из крохотных бриллиантов.

— О, какая прелесть! — обрадовалась Флер.

— Венера, выходящая из морской пены, или что-то в этом духе, — проворчал Сомс. — Редкость. Нужно ее смотреть при сильном освещении.

— Но она очаровательна. Я сейчас же ее надену.

Венера! Если бы папа только знал! Она обвила его шею руками, чтобы скрыть смущение. Сомс с обычной сдержанностью позволил ей потереться щекой о его гладко выбритое лицо. Зачем излишние проявления любви, когда они оба и так знают, что его чувство вдвое сильнее чувства Флер?

— Ну, надень, — сказал он, — посмотрим.

Флер приколола опал у ворота, глядя на себя в старинное, в лакированной раме зеркало.

— Изумительно! Спасибо тебе, дорогой. Да, твой галстук в порядке. Мне нравятся эти белые полосочки. Ты всегда носи его к черному. Ну, пойдём! — и она потянула его за собой в китайскую комнату. Там никого не было.

— Барт, наверно, наверху у Майкла — обсуждает свою новую книгу.

— В его годы — писать! — сказал Сомс.

— Миленький, да он на год моложе тебя!

— Но я-то не пишу. Не так глуп. Ну, а у тебя завелись еще какие-нибудь эдакие новомодные знакомые?

— Только один. Гэрдон Минхо, писатель. Тоже из новых?

— Что ты, милый! Неужели ты не слышал о Гэрдоне Минхо? Он стар как мир.

— Все они для меня одинаковы, — проворчал Сомс. — Он на хорошем счету?

— Да, я думаю, что его годовой доход побольше твоего. Он почти классик — ему для этого остается только умереть.

— Надо будет достать какую-нибудь из его книг и почитать. Как ты его назвала?

— Ты достань «Рыбы и рыбки» Гэрдона Минхо. Запомнишь, правда? А-а, вот и они! Майкл, посмотри, что папа мне подарил.

Взяв его руку, она приложила ее к опалу на своей шее. «Пусть они оба видят, в каких мы

хороших отношениях», — подумала она. Хотя отец и не видел ее с Уилфридом в галерее, но совесть ей подсказывала: «Укрепляй свою репутацию — неизвестно, какая поддержка понадобится тебе в будущем».

Украдкой она наблюдала за стариками. Встречи «Старого Монта» со «Старым Форсайтом», как называл ее отца Барт, говоря о нем с Майклом, вызывали у нее желание смеяться — совершенно неизвестно почему. Барт знал все — но все его знания были словно прекрасно переплетенные и аккуратно изданные в духе восемнадцатого века томики. Ее отец знал только то, что ему было выгодно знать, но его знания не были систематизированы и не входили ни в какие рамки. Если он и принадлежал к концу викторианской эпохи, то все же умел, когда было нужно, пользоваться достижениями позднейших периодов. «Старый Монт» верил в традиции, «Старый Форсайт» — ничуть. Зоркая Флер давно подметила разницу в пользу своего отца. Однако разговоры «Старого Монта» были много современнее, живее, поверхностнее, язвительнее, менее связаны с точной информацией, а речь Сомса всегда была сжата, деловита. Просто невозможно сказать, который из них — лучший музейный экспонат. И оба так хорошо сохранились!

Они, собственно, даже не поздоровались,

только Сомс пробурчал что-то о погоде. И почти сразу все принялись за воскресный завтрак — Флер, после длительных стараний, удалось совершенно лишить его обычного британского характера. И действительно, им был подан салат из омаров, ризотто из цыплячьих печенок, омлет с ромом и десерт настолько испанского вида, как только было возможно.

— Я сегодня была у Тэйта, — проговорила Флер. — Право, по-моему, это трогательное зрелище.

— Трогательное? — фыркнул Сомс.

— Флер хочет сказать, сэр, что видеть сразу так много старых английских картин — это все равно, что смотреть на выставку младенцев.

— Не понимаю, — сухо возразил Сомс. — Там есть прекрасные работы.

— Но не «взрослые»!

— А вы, молодежь, принимаете всякое сумасшедшее умничанье за зрелость.

— Нет, папа, Майкл не то хочет сказать. Ведь правда, у английской живописи еще не прорезались зубы мудрости. Сразу видишь разницу между английской и любой континентальной живописью.

— И благодарение богу за это! — перебил сэр Лоренс. — Искусство нашей страны прекрасно своей невинностью. Мы самая старая страна в политическом отношении и самая юная — в

эстетическом. Что вы скажете на это, Форсайт?

— Тернер для меня достаточно стар и умен, — коротко бросил Сомс. — Вы придете на заседание правления ОГС во вторник?

— Во вторник? Как будто мы собирались поохотиться, Майкл?

Сомс проворчал:

— Придется с этим подождать. Мы утверждаем отчет.

Благодаря влиянию «Старого Монта» Сомс попал в правление одного из богатейших страховых предприятий — Общества Гарантийного Страхования — и, по правде говоря, чувствовал себя там не совсем уверенно. Несмотря на то, что закон о страховании был одним из надежнейших в мире, появились обстоятельства, которые причиняли ему беспокойство. Сомс покосился через стол. Весьма легковесен этот узколобый, мохнатобровый баронетишка — вроде своего сына! И Сомс внезапно добавил:

— Я не вполне спокоен. Если бы я знал раньше, как этот Элдерсон ведет дела, — сомневаюсь, что я вошел бы в правление.

Лицо «Старого Монта» расплылось так, что, казалось, обе половинки разойдутся.

— Элдерсон! Его дед был у моего деда агентом по выборам во время билля о парламентской реформе; он провел его через самые

корруптированные выборы, какие когда-либо имели место, купил все голоса, перецеловал всех фермерских жен. Великие времена, Форсайт, великие времена!

— И они прошли, — сказал Сомс. — Вообще, я считаю, что нельзя так доверять одному человеку, как мы доверяем Элдерсону. Не нравятся мне эти иностранные страховки.

— Что вы, дорогой мой Форсайт! Этот Элдерсон — первоклассный ум. Я знаю его с детства, мы вместе учились в Уинчестере.

Сомс глухо заворчал. В этом ответе «Старого Монта» крылась главная причина его беспокойства. Члены правления все словно учились вместе в Уинчестере. Тут-то и зарыта собака! Они все до того почтенны, что не решаются взять под сомнение не только друг друга, но даже свои собственные коллективные действия. Пуще ошибок, пуще обмана они боятся выказать недоверие друг к другу. И это естественно: недоверие друг к другу есть зло непосредственное. А, как известно, непосредственных неприятностей и стараются избегать. И в самом деле, только привычка, унаследованная Сомсом от своего отца Джемса, — привычка лежать без сна между двумя и четырьмя часами ночи, когда из кокона смутного опасения так легко вылетает бабочка страха, — заставляла его беспокоиться. Конечно, ОГС было

столь внушительным предприятием и сам Сомс был так недавно с ним связан, что явно преждевременно было чують недоброе, — тем более, что ему пришлось бы уйти из правления и потерять тысячу в год, которую он получал там, если бы он поднял тревогу без всякой причины. А что, если причина все же есть? Вот в чем беда! А тут еще этот «Старый Монт» сидит и болтает об охоте и своем дедушке. Слишком узкий лоб у этого человека! И невесело подумав: «Никто из них, даже моя родная дочь, не способны ничего принимать всерьез», — он окончательно умолк. Возня у его локтя заставила его очнуться — это собачонка вскочила на стул между ним и Флер! Кажется, ждет, чтоб он дал ей что-нибудь? У нее скоро глаза выскочат. И Сомс сказал:

— Ну, а тебе что нужно? — Как это животное смотрит на него своими пуговицами для башмаков! — На, — сказал он, протягивая собаке соленую миндалину, — не ешь их, верно?

Но Тинг-а-Линг съел.

— Он просто обожает миндаль, папочка. Правда, мой миленький?

Тинг-а-Линг поднял глаза на Сомса, и у того появилось странное ощущение. «По-моему, этот звереныш меня любит, — подумал он, — всегда на меня смотрит». Он дотронулся до носа Тинга концом пальца. Тинг-а-Линг слегка лизнул палец

своим загнутым черноватым язычком.

— Бедняга! — непроизвольно сорвалось у Сомса, и он обернулся к «Старому Монту». — Забудьте, что я говорил.

— Дорогой мой Форсайт, а что, собственно, вы сказали?

Господи помилуй! И он сидит в правлении рядом с таким человеком! Что заставило его принять этот пост — один бог знает, — ни деньги, ни лишние заботы ему не были нужны. Как только он стал одним из директоров, вся его родня — Уинифрид и другие — стала покупать акции, чтобы заработать на подходящий налог: семь процентов с привилегированных акций, девять процентов с обычных вместо тех верных пяти процентов, которыми им следовало бы довольствоваться. Вот так всегда: он не может сделать ни шагу, чтобы за ним не увязались люди. Ведь он был всегда таким верным, таким прекрасным советником в путаных денежных делах. И теперь, в его годы, такое беспокойство! В поисках утешения его глаза остановились на опале у шеи Флер — красивая вещь, красивая шея! Да! У нее совсем счастливый вид — забыла свое несчастное увлечение, — как-никак, два года прошло. За одно это стоит благодарить судьбу. Теперь ей нужен ребенок, чтобы сделать ее устойчивее во всей этой модной суете, среди грошовых писак, художников и

музыкантов. Распущенная публика. Впрочем, у Флер умная головка. Если у нее будет ребенок, надо будет положить на ее имя еще двадцать тысяч. У ее матери одно достоинство: в денежных делах очень аккуратна, — хорошая французская черта. И Флер, насколько ему известно, тоже знает цену деньгам. Что такое? До его слуха долетело слово «Гойя». Выходит новая его биография? Гм... Это подтвердило медленно крепнущее в нем убеждение, что Гойя снова на вершине славы.

— Пожалуй, расстанусь с этой вещью, — сказал он, указывая на картину. — Тут сейчас есть один аргентинец.

— Продать вашего Гойю, сэр? — удивился Майкл. — Вы только подумайте, как все сейчас завидуют вам.

— За всем не угнаться, — сказал Сомс.

— Репродукция, которую мы сделали для новой биографии, вышла изумительно. «Собственность Сомса Форсайта, эсквайра». Дайте нам сначала хоть выпустить книгу, сэр.

— Тень или сущность, а? Форсайт?

Узколобый баронетишка — насмехается он, что ли?

— У меня нет родового поместья, — сказал он.

— Зато у нас есть, сэр, — ввернул Майкл. — Вы могли бы завещать картину Флер.

— Посмотрим, заслужит ли она, — сказал Сомс. И посмотрел на дочь.

Флер редко краснела: она просто взяла Тинг-а-Линга на руки и встала из-за испанского стола. Майкл пошел за ней.

— Кофе в комнате рядом, — сказал он.

«Старый Форсайт» и «Старый Монт» встали, вытирая усы.

VII. «СТАРЫЙ МОНТ» И «СТАРЫЙ ФОРСАЙТ»

Контора ОГС находилась недалеко от Геральдического управления. Сомс, знавший, что «три червленые пряжки на черном поле вправо» и «натурального цвета фазан» за немалую мзду были получены его дядей Суизином в шестидесятых годах прошлого века, всегда презрительно отзывался об этом учреждении, пока, примерно с год назад, его не поразила фамилия Голдинг, попавшаяся ему в книге, которую он рассеянно просматривал в «Клубе знатоков». Автор пытался доказать, что Шекспир в действительности был Эдуард де Вир, граф Оксфорд. Мать графа была урожденная Голдинг, и мать Сомса — тоже! Совпадение поразило его; и он стал читать дальше. Он отложил книгу, не уверенный в правильности ее основных выводов, но у него определенно

зародилось любопытство: не приходится ли он родственником Шекспиру? Даже если считать, что граф не был поэтом, все же Сомс чувствовал, что такое родство только почетно, хотя, насколько ему удалось выяснить, граф Оксфорд был темной личностью. Когда Сомс попал в правление ОГС и раз в две недели, по вторникам, стал проходить мимо этого учреждения, он думал: «Денег я на это тратить не стану; но как-нибудь загляну сюда». А когда заглянул, сам удивился, насколько это его захватило. Проследить родословную матери оказалось чем-то вроде уголовного расследования: почти так же запутано и совершенно так же дорого. С форсайтским упорством он не мог уже остановиться в своих поисках матери Шекспира де Вир, даже если бы она оказалась только дальней родней. К несчастью, он никак не мог проникнуть дальше некоего Уильяма Гоулдинга, времен Оливера Кромвеля, по роду занятий «ингерера», Сомс даже боялся разузнать, какая это, в сущности, была профессия. Надо было раскопать еще четыре поколения — и он тратил все больше денег и все больше терял надежду что-нибудь получить за них. Вот почему во вторник, после завтрака у Флер, он по дороге в правление так косо смотрел на старое здание. Еще две бессонные ночи до того взвинтили его, что он решил больше не скрывать своих подозрений и выяснить, как обстоят дела в ОГС. И

неожиданное напоминание о том, что он тратит деньги как попало, когда в будущем, пусть отдаленном, придется, чего доброго, выполнять финансовые обязательства, совершенно натянуло его и без того напряженные нервы. Отказавшись от лифта и медленно поднимаясь на второй этаж, он снова перебирал всех членов правления. Старого лорда Фонтеноя держали там, конечно, только ради имени; он редко посещал заседания и был, как теперь говорили... мм-м... «пустым местом». Председатель сэра Льюк Шерман, казалось, всегда старался только о том, чтобы его не приняли за еврея. Нос у него был прямой, но веки внушали подозрение. Его фамилия была безукоризненна, зато имя — сомнительно; голосу он придавал нарочитую грубоватость, зато его платье имело подозрительную склонность к блеску. А в общем это был человек, о котором, как чувствовал Сомс, нельзя было оказать, несмотря на весь его ум, что он относится к делу вполне серьезно. Что касается «Старого Монта» — ну, какая польза правлению от девятого баронета? Хью Мэйрик, королевский адвокат — последний из троицы, которая «вместе училась», — был безусловно на месте в суде, но заниматься делами не имел ни времени, ни склонности. Оставался этот обращенный квакер, старый Кэтберт Мозергилл, чья фамилия в течение прошлого столетия стала нарицательной для

обозначения честности и успеха в делах, так что до сих пор Мозергиллов выбирали почти автоматически во все правления. Это был глуховатый, приятный, чистенький старичок, необычайно кроткий — и ничего больше. Абсолютно честная публика, несомненно, но совершенно поверхностная. Никто из них по-настоящему не интересуется делом. И все они в руках у Элдерсона; кроме Шермана, пожалуй, да и тот ненадежен! А сам Элдерсон — умница, артист в своем роде; с самого начала был директором-распорядителем и знает дело до мельчайших подробностей. Да! В этом все горе! Он завоевал себе престиж своими знаниями, годами успеха; все заискивают перед ним — и не удивительно! Плохо то, что такой человек никогда не признается в своей ошибке, потому что это разрушило бы представление о его непогрешимости. Сомс считал себя достаточно непогрешимым, чтобы знать, как неприятно в чем бы то ни было признаваться. Десять месяцев назад, когда он вступал в правление, все, казалось, шло полным ходом: на бирже падение цен достигло предела — по крайней мере все так считали, — и поэтому гарантийное страхование заграничных контрактов, предложенное Элдерсоном с год назад, представлялось всем, при некотором подъеме на бирже, самой блестящей из всех возможностей. И

теперь, через год, Сомс смутно подозревал, что никто не знает в точности, как обстоят дела, — а до общего собрания осталось только шесть недель! Пожалуй, даже Элдерсон ничего не знает, а если и знает, то упорно держит про себя те сведения, которые по праву принадлежат всему директорату.

Сомс вошел в кабинет правления без улыбки. Все налицо, даже лорд Фонтеной и «Старый Монт», — ага, отказался от своей охоты! Сомс сел поодаль, в кресло у камина. Глядя на Элдерсона, он внезапно совершенно отчетливо понял всю прочность положения Элдерсона и всю непрочность ОГС. При неустойчивости валюты они никак не могут точно установить свои обязательства — они просто играют вслепую. Слушая протокол предыдущего заседания и очередные дела, подперев подбородок рукой, Сомс переводил глаза с одного на другого — старый Мозергилл, Элдерсон, Монт напротив, Шерман на месте председателя, Фонтеной, спиной к нему Мэйрик — решающее заседание правления в этом году. Он не может, не должен ставить себя в ложное положение. Он не имеет права впервые встретиться с держателями акций, не запасшись точными сведениями о положении дел. Он снова взглянул на Элдерсона — приторная физиономия, лысая голова, как у Юлия Цезаря; ничего такого, что внушало бы излишний оптимизм или излишнее

недоверие, — пожалуй, даже слегка похож на старого дядю Николаса Форсайта, чьи дела всегда служили примером позапрошлому поколению. Когда директор-распорядитель окончил свой доклад, Сомс уставился на розовое лицо сонного старого Мозергилла и сказал:

— Я считаю, что этот отчет неточно освещает наше положение. Я считаю нужным собрать правление через, неделю, господин председатель, и в течение этой недели каждого члена правления необходимо снабдить точными сведениями об иностранных контрактах, которые не истекают в текущем финансовом году. Я заметил, что все они попали под общую рубрику обязательств. Меня это не удовлетворяет. Они должны быть выделены совершенно особо. — И, переведя взгляд мимо Элдерсона прямо на лицо «Старого Монта», он продолжал: — Если в будущем году положение на континенте не изменится к лучшему — в чем я сильно сомневаюсь, — я вполне готов ожидать, что эти сделки заведут нас в тупик.

Шарканье подошв, движение ног, откашливания, какими обычно выражается смутное чувство обиды, встретили слова «в тупик», и Сомс почувствовал что-то вроде удовлетворения. Он встряхнул их сонное благодушие, заставил их испытать те опасения, от которых сам так страдал в последнее время.

— Мы всегда все наши обязательства рассматриваем под общей рубрикой, мистер Форсайт.

Какой наивный тип!

— И, по-моему, напрасно. Страхование иностранных контрактов — дело новое. И если я верно понимаю вас, то нам, вместо того, чтобы выплачивать дивиденды, надо отложить прибыли этого года на случай убытков в будущем году.

Снова движение и шарканье.

— Дорогой сэръ, это абсурдно!

Бульдог, сидевший в Сомсе, зарычал.

— Вы так думаете! — сказал он. — Получу я эти сведения или нет?

— Разумеется, правление может получить все сведения, какие пожелает. Но разрешите мне заметить по общему вопросу, что тут может идти речь только об оценке обязательств. А мы всегда были весьма осторожны в наших оценках.

— Тут возможны разные мнения, — сказал Сомс, — и мне кажется, важнее всего узнать мнение директоров, после того как они тщательно обсудят цифровые данные.

Заговорил «Старый Монт»:

— Дорогой мой Форсайт, подробный разбор каждого контракта отнял бы у нас целую неделю и ничего бы не дал; мы можем только обсудить итоги.

— Из этих отчетов, — сказал Сомс, — нам не видно соотношение — в какой именно степени мы рискуем при страховании заграничных и отечественных контрактов; а при нынешнем положении вещей это очень важно.

Заговорил председатель:

— Вероятно, это не встретит препятствий, Элдерсон? Но во всяком случае, мистер Форсайт, нельзя же в этом году лишать людей дивидендов в предвидении неудач, которых, как мы надеемся, не будет.

— Не знаю, — сказал Сомс. — Мы собрались здесь, чтобы выработать план действий согласно здравому смыслу, и мы должны иметь полнейшую возможность это сделать. Это мой главный довод. Мы недостаточно информированы.

«Наивный тип» заговорил снова:

— Мистер Форсайт как будто высказывает недостаток доверия по отношению к руководству?

Ага, как будто берет быка за рога!

— Получу я эти сведения?

Голос старенького Мозергилла уютно заворковал в тишине:

— Заседание, конечно, можно бы отложить, господин председатель. Я сам мог бы приехать в крайнем случае. Может быть, мы все могли бы присутствовать. Конечно, времена нынче очень необычные — мы не должны рисковать без особой

необходимости. Практика иностранных контрактов — вещь для нас, без сомнения, несколько новая. Пока что у нас нет оснований жаловаться на результаты. И право же, мы все с величайшим доверием относимся к нашему директору-распорядителю. И все-таки, раз мистер Форсайт требует этой информации, надо бы нам, по моему мнению, получить ее. Как вы полагаете, милорд?

— Я не могу прийти на следующей неделе. Согласен с председателем, что совершенно излишне отказываться от дивидендов в этом году. Зачем поднимать тревогу, пока нет оснований? Когда будет опубликован отчет, Элдерсон?

— Если все пойдет нормально, то в конце недели.

— Сейчас не нормальное время, — сказал Сомс. — Короче говоря, если я не получу точной информации, я буду вынужден подать в отставку.

Он прекрасно видел, что они думают: «Новичок — и поднимает такой шум!» Они охотно приняли бы его отставку — хотя это было бы не совсем удобно перед общим собранием, если только они не смогут сослаться на «болезнь его жены» или на другую уважительную причину; а уж он постарается не дать им такой возможности!

Председатель холодно сказал:

— Хорошо, отложим заседание правления до

следующего вторника; вы сможете представить нам эти данные, Элдерсон?

— Конечно!

В голове у Сомса мелькнуло: «Надо бы потребовать ревизии». Но он поглядел кругом. Пожалуй, не стоит заходить слишком далеко, раз он собирается остаться в правлении; а желания уйти у него нет — в конце концов это прекрасное место — и тысяча в год! Да. Не надо перегибать палку!

Уходя, Сомс чувствовал, что его триумф сомнителен; он был даже не совсем уверен — принес ли он какую-нибудь пользу. Его выступление только сплотило всех, кто «вместе учился», вокруг Элдерсона. Шаткость его позиции заключалась в том, что ему не на что было сослаться, кроме какого-то внутреннего беспокойства, которое при ближайшем рассмотрении просто оказывалось желанием активнее участвовать в деле, а между тем двух директоров-распорядителей быть не может — и своему директору надо верить.

Голос за его спиной застрекотал:

— Ну, Форсайт, вы нас прямо поразили вашим ультиматумом. Первый раз на моей памяти в правлении случается такая вещь.

— Сонное царство, — сказал Сомс.

— Да, я там обычно дремлю. Там всегда к концу такая духота. Лучше бы я поехал на охоту.

Даже в такое время года это приятное занятие.

Неисправимо легкомыслен этот болтун баронет!

— Кстати, Форсайт, я давно хотел вам сказать. Это современное нежелание иметь детей и всякие эти штуки начинают внушать беспокойство. Мы — не королевская фамилия, но не согласны ли вы, что пора позаботиться о наследнике?

Сомс был согласен, но не желал говорить на такую щекотливую тему в связи со своей дочерью.

— Времени еще много, — пробормотал он.

— Не нравится мне эта собачка, Форсайт.

Сомс удивленно посмотрел на него.

— Собака? — сказал он. — А какое она имеет отношение?

— Я считаю, что сначала нужен ребенок, а потом уже собака. Собаки и поэты отвлекают внимание молодых женщин. У моей бабушки к двадцати семи годам было пятеро детей. Она была урожденная Монтжой. Удивительно плодовитая семья! Вы их помните? Семь сестер Монтжой, все красавицы. У старика Монтжоя было сорок семь внуков. Теперь этого не бывает, Форсайт!

— Страна и так перенаселена, — угрюмо сказал Сомс.

— Не той породой, какой нужно. Надо бы их поменьше, а наших — побольше. Это стоило бы ввести законодательным путем.

— Поговорите с вашим сыном!

— О, да ведь они, знаете ли, считают нас ископаемыми. Если бы мы могли хоть указать им смысл жизни. Но это трудно, Форсайт, очень трудно!

— У них есть все, что им нужно, — сказал Сомс.

— Недостаточно, дорогой мой Форсайт, недостаточно. Мировая конъюнктура действует на нервы молодежи. Англии — крышка, говорят они, и Европе — крышка. Раю тоже крышка, и аду — тоже. Нет будущего ни в чем, кроме воздуха. А размножаться в воздухе нельзя... во всяком случае, я сомневаюсь в этом — трудности возникают немалые!

Сомс фыркнул.

— Если бы только журналистам заткнуть глотки, — сказал он. В последнее время, когда в газетах перестали писать каждый день про всякие страхи, Сомс снова испытывал здоровое форсайтское чувство безопасности. — Надо нам только держаться подальше от Европы, — добавил он.

— Держаться подальше и не дать вышибить себя с ринга! Форсайт, мне кажется, вы нашли правильный путь! Быть в хороших отношениях со Скандинавией, Голландией, Испанией, Италией, Турцией — со всеми окраинными странами, куда

мы можем пройти морем. А остальные пускай несут свой жребий. Это — мысль!..

Как этот человек трещит!

— Я не политик, — сказал Сомс.

— Держаться на ринге! Новая формула! Мы к этому бессознательно и шли. А что касается торговли — говорить, что мы не можем жить, не торгуя с той или другой страной, — это чепуха, дорогой мой Форсайт. Мир велик — отлично можем!

— Ничего в этом не понимаю, — сказал Сомс. — Я только знаю, что нам надо прекратить страхование этих иностранных контрактов.

— А почему не ограничить его странами, которые тоже борются на ринге? Вместо «равновесия сил» — «держаться на ринге»! Право же, это гениальная мысль!

Сомс, обвиненный в гениальности, поспешно перебил:

— Я вас тут покину — я иду к дочери!

— А-а! Я иду к сыну. Посмотрите на этих несчастных!

По набережной у Блэкфрайерского моста уныло плелась группа безработных с кружками для пожертвований.

— Революция в зачатке! Вот о чем, к сожалению, всегда забывают, Форсайт!

— О чем именно? — мрачно спросил Сомс.

Неужели этот тип будет трещать всю дорогу до дома Флер?

— Вымойте рабочий класс, оденьте его в чистое, красивое платье, научите их говорить, как мы с вами, — и классовое сознание у них исчезнет. Все дело в ощущениях. Разве вы не предпочли бы жить в одной комнате с чистым, аккуратно одетым слесарем, чем с разбогатевшим выскочкой, который говорит с вульгарным акцентом и распространяет аромат опопанакса? Конечно, предпочли бы!

— Не пробовал, не знаю, — сказал Сомс.

— Вы прагматик! Но поверьте мне, Форсайт, если бы рабочий класс больше думал о мытье и хорошем английском выговоре вместо всякой там политической и экономической ерунды, равенство установилось бы в два счета!

— Мне не нужно равенство, — сказал Сомс, беря билет до Вестминстера.

«Трескотня» преследовала его, даже когда он спустился к поезду подземки.

— Эстетическое равенство, Форсайт, если бы оно у нас было, устранило бы потребность во всяком другом равенстве. Вы видели когда-нибудь нуждающегося профессора, который хотел бы стать королем?

— Нет, — сказал Сомс, разворачивая газету.

VIII. БИКЕТ

Веселая беззаботность Майкла Монта, словно блестящая полировка, скрывала, насколько углубился его характер за два года оседлости и постоянства. Ему приходилось думать о других. И его время было занято. Зная с самого начала, что Флер только снизошла к нему, целиком принимая полуправильную поговорку: «Il y a toujours un qui baise, et l'autre qui tend la joue»¹¹ он проявил необычайные качества в налаживании семейных отношений. Однако в своей общественной и издательской работе он никак не мог установить равновесия. Человеческие отношения он всегда считал выше денежных. Все же у Дэнби и Уинтера с ним вполне ладили, и фирма даже не проявляла признаков банкротства, которое ей предсказал Сомс, когда услышал от зятя, по какому принципу тот собирается вести дело. Но и в издательском деле, как и на всех прочих жизненных путях, Майкл не находил возможным строго следовать определенным принципам. Слишком много факторов попадало в поле его деятельности — факторов из мира людей, растений, минералов.

В тот самый вторник, днем, после долгой возни с ценностями растительного мира — с

¹¹ Всегда один целует, а другой подставляет щеку (франц.).

расценками бумаги и полотна, — Майкл, насторожив свои заостренные уши, слушал жалобы упаковщика, пойманного с пятью экземплярами «Медяков» в кармане пальто, положенных им туда с явным намерением реализовать их в свою пользу.

Мистер Дэнби велел ему «выкатываться». Он и не отрицает, что собирался продать книги, — а что бы сделал мистер Монт на его месте? За квартиру он задолжал, а жена нуждается в питании после воспаления легких, очень нуждается!

«Ах, черт! — подумал Майкл. — Да я бы стащил целый тираж, если б Флер нужно было питаться после воспаления легких!»

— Не могу же я прожить на одно жалованье при теперешних ценах, не могу, мистер Монт, честное слово.

Майкл повернулся к нему:

— Но послушайте, Бикет, если мы вам позволим таскать книжки, все упаковщики начнут таскать. А что тогда станет с Дэнби и Уинтером? Вылетят в трубу. А если они вылетят в трубу, куда вы все вылетите? На улицу. Так лучше пусть один из вас вылетит на улицу, чем все, не так ли?

— Да, сэр, я понимаю вас, все это истинная правда. Но правдой не проживешь, всякая мелочь выбьет из колеи, когда сидишь без хлеба. Попросите мистера Дэнби еще раз испытать меня.

— Мистер Дэнби всегда говорит, что работа

упаковщика требует особого доверия, потому что почти невозможно за вами углядеть.

— Да, сэр, уж я это запомню на будущее; но при нынешней безработице, да еще без рекомендаций, мне нипочем не найти другого места. А что будет с моей женой?

Для Майкла это прозвучало, как будто его спросили: «А что будет с Флер?» Он зашагал по комнате; а Бикет, еще совсем молодой парень, смотрел на него большими тоскливыми глазами. Вдруг Майкл остановился, засунув руки в карманы и приподняв плечи.

— Я его попрошу, — сказал он, — но вряд ли он согласится; скажет, что это нечестно по отношению к другим. Вы взяли пять экземпляров, это уж чересчур, знаете ли! Верно, вы и раньше брали, правда, а?

— Эх, мистер Монт, признаюсь по совести, если это поможет: я раньше тоже стащил несколько штук, только этим и спас жену от смерти. Вы не представляете, что значит для бедного человека воспаление легких.

Майкл взъерошил волосы.

— Сколько лет вашей жене?

— Совсем еще девочка — двадцать лет.

Только двадцать — одних лет с Флер!

— Я вам скажу, что я сделаю, Бикет: я объясню все дело мистеру Дезерту; если он

заступится за вас, может, на мистера Дэнби это подействует.

— Спасибо вам, мистер Монт, — вы настоящий джентльмен, мы все это говорим.

— А, ерунда! Но вот что, Бикет, — вы ведь рассчитывали на эти пять книжек. Вот возьмите, купите жене, что нужно. Только, бога ради, не говорите мистеру Дэнби.

— Мистер Монт, да я вас ни за что на свете не выдам — ни слова не пророню, сэр. А моя жена... да она...

Всхлип, шарканье — и Майкл, оставшись один, еще глубже засунул руки в карманы, еще выше поднял плечи. И вдруг он рассмеялся. Жалость! Жалость — чушь! Все вышло адски глупо! Он только что заплатил Бикету за кражу «Медяков». Ему вдруг захотелось пойти за маленьким упаковщиком, посмотреть, что он сделает с этими двумя фунтами, — посмотреть, правда ли «воспаление легких» существует, или этот бедняк с тоскливыми глазами все выдумал! Невозможно проверить, увы! Вместо этого надо позвонить Уилфриду и попросить замолвить слово перед старым Дэнби. Его собственное слово уже потеряло всякий вес. Слишком часто он заступался. Бикет! Ничего ни о ком не знаешь! Темная штука жизнь, все перевернуто. Что такое честность? Жизнь нажимает — человек сопротивляется, и если

побеждает сопротивление, это и зовется честностью. А к чему сопротивляться? Люби ближнего, как самого себя, — но не больше! И разве не во сто раз труднее Бикету при двух фунтах в неделю любить его, чем ему, при двадцати четырех фунтах в неделю, любить Бикета?

— Алло... Ты, Уилфрид?.. Говорит Майкл... Слушай, один из наших упаковщиков таскал «Медяки». Его выставили, беднягу. Я и подумал — не заступишься ли ты за него, — старый Дэн меня и слушать не станет... да, у него жена ровесница Флер... говорит — воспаление легких. Больше таскать не станет — твой-то наверняка! Страховка благодарностью — а?.. Спасибо, старина, очень тебе благодарен. Так ты заглянешь сейчас? Домой можем пойти вместе... Ага! Ну ладно, во всяком случае ты сейчас заглянешь! Пока!

Хороший малый этот Уилфрид! Действительно, чудесный малый, несмотря на... несмотря на что?

Майкл положил трубку, и вдруг ему вспомнились облака дыма, и газы, и грохот — все то, о чем его издательство принципиально отказывалось что-либо печатать, так что он привык немедленно отклонять всякую рукопись на эту тему. Война, может быть, и кончилась, но в нем и в Уилфриде она все еще жила.

Он взял трубку.

— Мистер Дэнби у себя? Ладно! При первой попытке к бегству дайте мне знать...

Между Майклом и его старшим компаньоном лежала пропасть не менее глубокая, чем между двумя поколениями, хотя отчасти ее заполнял мистер Уинтер — добродушный и покладистый человек средних лет.

Майкл, собственно, ничего не имел против мистера Дэнби — разве только то, что он был всегда прав, этот Филип Норман Дэнби, из Скай-Хауса, на Кемден-Хилл. Это был человек лет шестидесяти, отец семейства, высоколобый, с грузным туловищем на коротких ногах, с выражением лица и непоколебимым и задумчивым. Его глаза были, пожалуй, слишком близко поставлены, нос — слишком тонок, но все же в своем большом кабинете он выглядел весьма внушительно. Дэнби отвел глаза от пробного оттиска объявлений, когда вошел Уилфрид Дезерт.

— А, мистер Дезерт! Чем могу служить? Садитесь!

Дезерт не сел, посмотрел на рисунки, на свои пальцы, на мистера Дэнби и проговорил:

— Дело в том, что я прошу вас простить этого упаковщика, мистер Дэнби.

— Упаковщика? Ах да! Бикета! Это вам, наверно, сказал Монт?

— Да. У него молоденькая жена больна

воспалением легких.

— Все они приходят к нашему милому Монту со всякими рассказами, мистер Дезерт, — он очень мягкосердечен. Но, к сожалению, я не могу держать этого упаковщика. Это совершенно безобразная история. Мы давно стараемся выследить причину наших пропаж.

Дезерт прислонился к камину и уставился на огонь.

— Вот, мистер Дэнби, — сказал он, — ваше поколение любит мягкость в литературе, но в жизни вы очень жестоки. Наше — не выносит никакого сентиментальничанья, но мы во сто раз менее жестоки в жизни.

— Я не считаю это жестокостью, — ответил мистер Дэнби, — это просто справедливость.

— А вы знаете, что значит справедливость?

— Надеюсь, да.

— Попробуйте четыре года посидеть в аду — тогда и говорите!

— Я, право, не вижу никакой связи. То, что вы испытали, мистер Дезерт, конечно, очень тяжело.

Уилфрид повернулся и посмотрел на него в упор.

— Простите, что я так говорю, но сидеть тут и проявлять справедливость — еще тяжелее. Жизнь — настоящее чистилище для всех, кроме тридцати процентов взрослых людей.

Мистер Дэнби улыбнулся.

— Мы просто не могли бы вести наше дело, мой юный друг, если бы перестали от каждого требовать исключительной честности. Не делать разницы между честностью и нечестностью было бы весьма несправедливо. Вы это прекрасно знаете.

— Ничего я «прекрасно» не знаю, мистер Дэнби, и не верю тем, кто говорит, что все знает прекрасно.

— Ну, давайте скажем, что есть просто правила, которых нужно придерживаться, чтобы общество могло каким-то образом существовать.

Дезерт тоже улыбнулся.

— А, к черту правила! Сделайте это как личное одолжение мне. Ведь эту проклятую книгу написал я!

Никаких признаков борьбы на лице мистера Дэнби не отразилось, но его глубоко посаженные, близко поставленные глаза слегка заблестели.

— Я был бы очень рад, но тут дело... гм-м... ну, совести, если хотите. Я не преследую этого человека. Я только его увольняю, вот и все.

Дезерт пожал плечами.

— Что ж, прощайте! — и вышел.

У дверей Майкл изнывал от неизвестности.

— Ну, как?

— Ничего не вышло. Старый хрыч чересчур справедлив.

Майкл взъерошил волосы.

— Подожди в моей комнате пять минут, пока я скажу этому бедняге, а потом я пойду с тобой.

— Нет, — сказал Дезерт, — мне в другую сторону.

Не то, что Дезерт «шел в другую сторону» — это часто с ним бывало, — нет, что-то в звуке его голоса, выражении его лица не давало Майклу покоя, пока он спускался вниз, к Бикету. Уилфрид был страшный чудак — вдруг совершенно неожиданно замыкался в себе.

Спустившись в «преисподнюю», Майкл спросил:

— Бикет ушел?

— Нет, сэр, вот он.

Действительно, вот он — его потертое пальто, бледное, изможденное лицо с несоразмерно большими глазами, узкие плечи.

— Очень жаль, Бикет, мистер Дезерт был там, но ничего не вышло.

— Не вышло, сэр?

— Держитесь молодцом, где-нибудь устройтесь.

— Боюсь, что нет, сэр. Ну спасибо вам большое, и мистера Дезерта поблагодарите. Спокойной ночи, сэр, счастливо оставаться!

Майкл посмотрел ему вслед — он прошел по коридору и исчез в уличной мгле.

— Весело! — сказал Майкл и рассмеялся...

Естественные подозрения Майкла и его старшего компаньона, что Бикет сочиняет, были неосновательны: и про жену и про воспаление легких он сказал правду. И, шагая по направлению к Блэкфрайерскому мосту, он думал не о своей подлости и не о справедливости мистера Дэнби, а о том, что же он скажет жене. Конечно, он ей не признается, что его уличили в краже; придется сказать, что его выгнали за то, что он «нагрубил заведующему»; но что она теперь о нем подумает, когда все зависит именно от того, чтобы не грубить заведующему? Странная вещь — его чувство к ней: изо дня в день он приходил на работу в таком состоянии, словно «половина его нутра» оставалась в комнате, где лежала жена, а когда наконец доктор сказал ему: «Теперь она поправится, но она сильно истощена, надо ее подкормить», — страх за нее привел его к твердому решению. В следующие три недели он «спер» восемнадцать экземпляров «Медяков», включая и те пять, которые нашли в его кармане. Он таскал книгу мистера Дезерта только потому, что она «здорово шла», и теперь он жалел, что не схватил еще чью-нибудь книжку. Мистер Дезерт оказался очень порядочным человеком. Бикет остановился на углу Стрэнда и пересчитал деньги. Вместе с двумя фунтами, полученными от Майкла, и жалованьем у него было всего-навсего